PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190

МИР В ОБРАЗАХ

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕРИЯ

МИХАИЛ СТЕЛЬМАХ

ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ...

•

ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР

ПОВЕСТИ

ИЛЛЮСТРАЦИИ ХУДОЖНИКА
А. М. ШОЛОМИЯ

КИЕВ „РАДЯНСЬКА ШКОЛА" 1984

ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как только весна где-то в жите-пшенице разминется с летом, у нас поспевает земляника. Поспевает ночью, при звездах и поэтому похожа на росу, выпавшую из звезд. Так, приближая небо к земле, говорит моя мать. И я очень люблю пору, когда земляника засвечивает свои цветочки. Они словно бы сами удивляются, как достигли такого беззащитно-чистого цвета. И уже потом по-детски склоняют головки увлажненные туманом ягоды. Хоть невеличка эта ягода, а весь лес и всякий, кто зайдет в него, пахнет земляникой. Я теперь ложусь и встаю, накупанный этими запахами — лето, леточко!..

Я люблю, когда ты распахиваешь свои ресницы — пригорюнившийся житний цвет, доверчиво смотришь на меня глазами васильков и отзываешься косой на лугу, перепелкой в поле.

А как хорошо спится в твоем сладком тумане, в твоих зорях!..

Но знакомая рука уже легла на плечо, и тихий голос наклоняется к моему сну:

— Вставай, Михайлик, вставай.

— Ма-ма, еще капельку...

— Стряхни эту капельку.

— Ой!..

— Смотри, бока отлежишь, что тогда будем делать?

И рядно и тепло уже куда-то делись, ты весь собираешься в комочек, врастаешь в топчан. Но разве это поможет?

— Вставай, вставай,— вытягивает мать из сна,— уже окна поседели, уже просыпается солнце.

Солнце?.. А ты еще видишь месяц — как выносят его из лесу на рогах коровы, тоже пропахшие земляникой.

На тебя, на твои разорванные видения слова падают, как роса, ты встаешь, потягиваясь, зевая, трешь кулаками глаза, а в ухо, где еще притаился сон, сквозь туман доби-

рается грустное кукование. Уже не первое утро печалится кукушка, что вот-вот на седом колосе жита потеряет свой голос — лето, леточко!..

Оно тихо с полей зашло в село, постояло у каждого плетня, огорода и принялось за свои хлопоты — чтоб все росло, родило. И все тянется, на цыпочки становится — так хочет расти, так хочет родить!

Как зелено, свежо, росисто за двумя оконцами нашей бедняцкой халупы, занимающей ровно ползасторонка [1] старой, сгорбленной клуни, что ночью спит, а днем дремлет...

После возвращения отца с войны был в нашей семье очень невеселый день — раздел наследства. Как чужие, сидели на ясеневых скамейках братья и их жены, проницая друг друга настороженным оком. Правда, драки и ругани не было, но тот сердечный лад, что всегда был в дедовом жилище, далеко отошел от наследников. Больше других показывала характер та тетка, что имела в хозяйстве пять десятин, и волов, и корову. Но и детей у нее немало: четверо, и старшей дочке уже требовалось приданое.

Дедова хата досталась дядьке Ивану и тетке Явдохе. Они без проволочки, в тот же день начали срывать с нее голубые от времени и неба снопки, а саму хату перепиливать надвое. Больно и страшно было видеть, как из-под железных зубов, словно кровь, брызнули опилки, как живое, теплое жилье превращалось в груду покалеченного дерева, как то самое окно, под которым отдыхал дедусь, вырвали из стены и, будто покойника, положили на телегу. Убитый горем, я забрался в сад, упал на траву и заплакал, но все равно слышал, как пилы злобно кромсали мое прошлое, как на скрипучих телегах увозили со двора мои дорогие годы.

Дядько Яков, самый обеспеченный, взял на свез только дедов навес. А нам досталась вислобровая, полатанная зеленым мхом клуня и двенадцать с половиной соток огорода.

Когда мы снесли свои пожитки в клуню и положили их на току, мать всхлипнула, а батько сказал, чтоб она слезами не размочила ток, а то не на чем будет молотить зерно. В серых отцовых глазах встрепенулись посмутневшие бесенята, в другое время они у него такие задорные, что прямо танцевать просятся.

— Ой, Панас, Панас, как теперь жить будем? — совсем опустились руки у матери.

---

[1] Четвертая часть.

— Главное, жинка, не простудить зубы: чем тогда есть будем? — Отец внимательно поглядел на ток, который должен теперь служить нам постелью.

— Тут и душу простудишь,— вздохнула мать и посмотрела на меня.— Мы еще так-сяк перемучаемся. А как ребенок?

— Так ведь он молодцом вырос у нас! А если еще научится руки-ноги мыть, цены ему не сложишь! — похвалил меня батько. Он очень любил воду, не разлучался с ней до самых заморозков, а зимой, пугая мерзляков, купался в снегу — поэтому юношеский румянец не сходил с его щек до семидесяти пяти лет.

— Дует тут со всех сторон,— осмотрела мать клуню.

— Зато сверху воробьи поют,— глянул отец вверх, где и правда, беззаботно щебеча, летали воробьи.— Не всякий такую роскошь имеет.

От этих слов я сразу повеселел, а мать вздохнула:

— Теперь у нас и у воробьев одно жилье.— Потом она грустно поглядела на щели меж бревнами и тихонько попросила, чтобы ветры не собирались в нашем жилье, не простудили меня и батька.

О себе мать не вспомнила,— сколько я знаю ее, она меньше всего заботилась о себе и обращалась к таинственным силам лишь тогда, когда уже очень въедался в тело или кости какой-нибудь недуг. Тогда мать говорила: «Уйди, лихо, в чащи, в болота, неведомые края, потому что надо мне делушко делать».

Как любила она работать в огороде, в поле, на лугу, в лесу и ласково тешиться сделанным! Словно праздника, ждала она то время, когда надо сеять, косить, жать; она любила, чтоб снопы были хороши, как дети, а полукопны стояли, будто парубки, плечо к плечу. И очень любила в жатву после работы лечь на телегу и глядеть на звезды, на Чумацкий Шлях, на Стожары и на тот Воз, что родился из девичьих слезинок.

— Как славно на свете, даже слышно, как земля дышит! — задумчиво говорила мать.

— Может, это наша кобылка дышит? — подсменвался батько, который нередко удивлялся словам жены.

— А, что ты понимаешь! — рукой отклоняла она насмешку и уже прислушивалась к перепелке, что, напугавшись серпа, перебиралась с детьми в яровое.

— И как ты все слышишь? — удивлялся батько.

— Наверное, это любовь моя слышит,— в раздумье от-

вечала она и снова прислушивалась к небу, к земле, к птичьим крыльям и к всхлипыванию росы.

Этой любовью ко всему доброму, красивому наделила мать и меня. И я, как праздника, жду того дня, когда гром размораживает сон в деревьях или когда не травой, а самой жизнью начинает пахнуть рожь. И как досадно бывает, что такую любовь иные считают пережитком или сантиментами. Я и теперь убежден, что холодные глаза обедняют и мир и душу даже очень умных людей...

Только мать закончила разговор с ветрами, от ворот недовольно отозвалась утка: кто-то злобно цыкнул на нее. Батько удивленно взглянул на мать.

— Не тот ли идет, что засаливаться начал?

— Замолчи! — предостерегающе подняла руку мать.— Еще услышит, чего доброго.

— Ну и пусть услышит, скупердяй.

И вот, наступая на собственную тень, появляется дядько Владимир, который как мог обходил отца: все боялся, что бедняк попросит взаймы. Когда они случайно встречались, дядько Владимир сразу же начинал настороженно пятиться и бормотать про свои неудачи и нехватки, жаловаться на «такое время» и на чертовскую дороговизну, которая последнюю копейку вытряхивает из самой души.

Туго набитый мясом, здоровьем и подозрительностью, дядечка чинно поздоровался, оглядел наши достатки, что встопорщились на току, и неопределенно сказал:

— Хе!

— Ну да, ну да,— поддержал разговор батько и нацелил на дядечку свою лукавую усмешку.

— Что? — смешался тот.

— То самое, а чего ж, если так, а не иначе,— разглядывая гостя, невинно ответил батько.

Дядечка набычился, в его больших вытаращенных глазах озлобились маленькие человечки: он сам не умел шутить и люто ненавидел чьи-либо шутки, подозревая, что они так или этак касаются его.

— Вы насмешечки, значит, собираете, Панас?

— Нет, они почему-то сами родятся у меня,— сразу же ответил батько.

Но и дядечка не остался в долгу:

— Лучше б у вас копейка родилась!

Батько оценил остроумное слово, и под усом у него насочилась хитринка:

— Где уж той копейке взяться у бедных, если она и с богатыми не хочет брататься.

Это дядьке очень пришлось по душе, и он снова сказал:
— Хе!

Отец собрался было ответить, но мать прошила его недовольным взглядом и поставила посреди клуни дубовую, с темными глазами скамейку. Дядько Владимир закрыл те глаза рукою, пощупал и, убедившись, что ни скамейка, ни ток не выкинут каверзы, расселся так, будто у него между колен должны были поставить маслобойку.

Наступила та неловкая тишина, когда один молчит, а другой не говорит. Тут бы закурить, но ни дядечка, ни батько не потребляли гордое зелье, что не склонилось даже перед богом. Красноречивый дядечка еще раз хекнул, а батько поверх его головы хитровато поглядел на мать — дескать, хочешь, чтоб я молчал, так я послушаюсь тебя. На губах матери шевельнулись укор мужу и усмешка дядьке.

— Что, Владимир, поделывает ваша Марийка?

— А что ей делать? Все толчется между хатой и клуней, как Марко проклятый в пекле.

Дядечка и не заметил, что сказал правду: его набитые живностью двор и задворок и правда походили на филиал пекла, где не стихал визг голоднющих свиней. Неизвестно почему, хозяева стояли на том, что свиньи должны сами себя прокормить. Поэтому одичалые вепри, как могли, обгрызали желоба и двери, подрывали и срывали с петель ворота, словно борзые, перескакивали через плетни и люто потрошили чужие огороды или охотились на кур, уток, гусят. Сало никогда не держалось на костях этих пиратов, не наращивали они и мяса, зато щетина была, как проволока,— сапожники не могли нахвалиться ею.

— Хорошо, что есть около чего толочься,— гасит усмешку мать.

— Да что там хорошего? Нет теперь добра ни от солнца, ни от месяца,— седлает дядечка своего неизменного конька.— Вот вы думаете, что у меня свиньи. А это не свиньи — сама идолова порода: одни кости и визг, зашитые в шкуру. Из-за этого визга, поверите, свет не мил, даже ночью никак не засну.

— А вы хоть бы на ночь их немного подкармливали,— вставляет батько и сразу же закрывает кулаком рот.

— Вы за чем-то, Владимир, пришли? — не выпускает мать клубка разговора.

— Дело к вам есть, не такое уж большое, но дело,— вполголоса говорит дядечка, а сам как-то в четверть глаза поглядывает то на мать, то на батька. Это сначала удивля-

ст меня, а потом я сам прижмуриваю глаза и точно так же смотрю на дядечку. Теперь его неспокойные брови и выпуклые веки увеличиваются, становятся совсем похожими на улиток, выглядывающих из своих домиков.

— Какое ж у вас дело? — допытывается мать.

— Вот вы получили какое ни есть, но свое наследство, свою пайку.— Дядечка еле-еле, как из кошелька червонцы, добывает из себя слова.

Батько настораживается, а у матери всполошенно просыпается надежда: а вдруг дядько Владимир раздобрится и даст нам в долг денег на телку? Ведь еще сегодня, рассказывали, он сокрушался на людях, что мы остались без хаты.

— Сколько того наследства — одна клуня с четырьмя ветрами! — вздохнула мать.

Батько пренебрежительно оттопырил подстриженные усы, а мать для него сжала губы в оборочку: не вздумай, мол, выпустить свое слово. Бесенята снова метнулись в батьковых глазах. Но он так стиснул губы, будто не собирался их раскрывать до большого праздника.

— Если б вместо четырех ветров хоть пара коней или коровенка была...— На широком дядечкином лице промелькнуло что-то похожее на сочувствие. Это еще больше обнадежило мать, которая и в снах бредила своею коровкой.— Да все в руке божьей.

— И в своих руках,— не выдержал неосторожный отец, но схватил такой взгляд матери, что даже пригнулся, как от грома.

— И это сущая правда,— согласился дядько Владимир и уже вполглаза посмотрел на свои узловатые руки, что тоже роскошествовали не в перстнях, а в мозолях.— Так вот я и говорю: получили вы, Ганя, наследство, а наверно, и не знаете, что на вашем огороде растет моя груша...

Эти слова как обухом ударили мать.

«А что я тебе говорил?» — глазами сказал ей отец и уже удивленно спросил дядьку Владимира:

— Это какая же ваша груша?

— А у вас их сколько на огороде? — тоже удивился дядечка, махнув рукой на раскрытые ворота клуни, за которыми стояла развесистая груша-дичок.— Вот эта.

— Не скажете, как это на нашей земле стала вашей груша? — вытрушиваются бесенята из отцовых глаз, и не злость, а презрение просыпается в них.

— Просто вам, Панас, может, и невдомек, что эту грушу посадил мой дед.

— Осенью или весною?

— Осенью, как сейчас помню. Тогда как раз шел дождь, а мой дед все приговаривал: «Если дождь плачет, так мельник скачет...» Я памятливый, Панас.

— Почему ж вы, такой памятливый, раньше не вспомнили про грушу?

— Не было такого повода, а сегодня есть.

— Нашли свой добрый час! — зазвенел обидой голос матери.— Еще от дедовой хаты ветер не развеял труху! А какое мне дело до чьей-то трухи? Каждый ищет свой час, это его право, а каждый, скажу вам по правде, добрый только для себя. Мировой пожар — это мировой, а груша — моя! — круто ложится упрямство на дядьковы челюсти.— Ну, а если вам это дело с грушей не припомнится, можно позвать свидетелей. Так я за шапку — и сразу же к людям.

Ресницы и губы матери дрожат от обиды.

— Что ж вы хотите, Владимир, в свой добрый час?

— Срубить дерево.

— Не дождетесь этого! — вскрикнула мать, которая скорей бы себя подставила под топор, чем грушу.

— Это почему же не дождусь?! — озлился дядько Владимир.— Что я, у бога теля съел?

— Я не знаю, что вы ели у бога, а груши не съедите! — окаменела в гневе мать.

На перепеченных щеках дядьки Владимира появились первые медяки румянца.

— Как же! Вам, вижу, дармового захотелось! Вы себе прикинули, что если новая власть за вас, то и груша останется за вами? Но и мне характера не занимать: скорее помру, а своего не подарю. Вот так!

— Почему ж вы раньше не рубили, не калечили грушу? — Боль и гнев закипали в мамином голосе. Одна лишь мысль, что новое хозяйствование начнется смертью дерева, наполняла ужасом ее вселюбящую душу.

— Не спешил, потому что имел аренду от деда Демьяна. У меня все по-честному, у меня каждый гвоздь свое место знает.

— Что это была за аренда? — еще надеялась мать, что дядько Владимир не сведет концы с концами.

— Он имел себе грушки на узвар, а мне за это налаживал телегу и, как припоминаете, не брал за работу ни гроша.

— Это правда? — спросил батько опечаленную мать.

— Правда,— вздохнула она.

— Вот видите! — Дядечка даже подрос и глянул вверх на воробья, что старался примоститься под крышей.— Сам бог знает, что я чужого не хочу.

— Неужели у вас рука поднимется на живое дерево, на его цвет и плод? — обратилась мать к совести гостя.— Это ж такая краса — на всю улицу, когда груша цветет!

Дядькова совесть отозвалась еще несколькими копейками румянца.

— Что с этой красы, если она не в твоем дворе? Это даже ненужная краса.

— Что вы говорите?! — ужаснулась мать.

— Что слышите! — В дядьковых глазах неожиданно появилась хитринка.— Вот, к примеру, была б около меня на соседнем дворе красивая молодка. Так что б я делал? Потихоньку приглядывался б к ней, одним глазом сторожил бы свою жинку, а другим — соседку, даже что-то подарить бы ей захотелось. А кому от этого польза? Ни моей работе, ни моему соседу, ни моей жинке, ни мне. Вот видите, как невыгодно жить с чужой красою,— победоносно поглядел скупердяй на мать.— Так когда скажете рубить грушу?

— Подождите, Владимир, с топором, пусть он немного отдохнет под лавкой. А мы сделаем по-людски,— рассудил батько.— Я пойду в лес, выкопаю грушу и посажу ее на вашем огороде.

— Хе! — оторопел дядько Владимир и так заерзал на скамейке, словно она загорелась.— А когда же я дождусь грушек?

— Если немного меньше будете хлопотать о богатстве, а больше о здоровье, так дождетесь.

— Тогда сделаем так,— снова показал дядечка рукой на грушу.— Я буду с нее собирать грушки до тех пор, пока не уродит посаженная вами.

— Ох, и жадюга вы! Такого сквалыги еще свет не видел! — гневно вырвалось у батька, и он так вскинулся, что мать загородила собой дядьку Владимира.— Вы, наверно, и солнце взяли бы в аренду!

— Спасибо, спасибо, что опаскудили в своей клуне,— надулся дядько, и надулись его толстые, как у сазана, губы.— Уважение ваше навек запомню и когда-нибудь отзовусь на него. На всякий горох узлечка находится.

— Идите уж домой,— простонала мать.— Заморочили голову — и идите.

— Не гоните меня — сам пойду, не просижу вашей скамейки. Так как же с грушей?

— Потом, потом поговорите,— уже молит она тихо уйти, хорошо зная, почему так посветлели батьковы глаза.

Дядько Владимир только теперь внимательно поглядел на отца, встревоженно хекнул, на всякий случай стиснул кулаки и, как недобрый дух, исчез из клуни. А мать бросилась к отцу, охватила его набухшие гневом руки.

— Успокойся, успокойся, Панас. Не нужно.— Мать прижала голову к его груди и всхлипнула.

Теперь уже отцу пришлось успокаивать ее и пальцами вытирать вторые за этот тяжкий день слезы.

— Жаль, что не сбил хоть немного пены с этого ненасытца,— сказал он, когда мать притихла на его груди.— Столько добра иметь и позавидовать единственной бедняцкой груше!

— Я думала, он пришел что-то дать нам взаймы на новое хозяйство.

— У такого получишь, как же! Ему и душа дешевле гроша. Для чего только он живет на свете? Неужели для того лишь, чтобы жрать и гноить деньги в земле?

— Гноить! Неужели Владимир такой денежный?

— Еще спрашиваешь! — уверенно ответил батько.— Он по ночам свои деньги мерками меряет и в землю зарывает.

— Так уж и мерками! — усмехнулась мать, а я засмеялся, потому что сразу представил себе, как дядечка ночью тайком возится со своим скарбом.

— Ты что это выбеливаешь зубы? — удивился батько.

— Значит, есть что выбеливать,— еще больше разбирает меня смех, а из глаз вытрушивается дядькова серебро-золото.

— Хохочет, аж нос вытанцовывает. И чего?

— Потому что вы такое несусветное скажете про деньги!

— Отчего же несусветное, если так люди говорят,— примирительно бросил отец.

И правда, у нас люди чьи-то деньги мерили, как картошку: и возами, и мешками, и мерками, и чугунами, и горшками. А про свои чаще всего говорили так: дал бог копеечку, а черт дырочку, да и попала божья копеечка в чертову дырочку. И это еще хорошо, если прорывалась одна дырочка. Но, к сожалению, у людей было столько надырявлено, что и мудрый не знал, как уберечь скудные достатки...

Обступили беды и нас, да так, что батько кидался во все стороны, как рыба в сетях. Поехал на заработки в Одессу, и там ему будто улыбнулась доля: добрые люди

посоветовали переселиться в те херсонские степи, где це-
...ния и по сей день ожидает пахаря. Батько поколесил по
степным дорогам, нагоревался в селах, от которых только-
только отступил голод, и люди нашли ему земельку, что
вдовствовала без сеятеля.

Домой отец приехал не то с радостью, не то с печалью и привез нам единственный подарок — пучок седого ко-
ыля.

Глянула мать на него, вздохнула и затужила:

— Это ж и там, в степях, сразу посередь, как этот ко-
выль.

— Я тебя и седую не брошу,— утешил батько.

— Зачем нам та Херсонщина?

— Зачем?! Земля там жирная. И пшеница в добрый час стоит, будто Дунай, а подсолнухи стряхивают росу пополам с маслом.

— Мне и наши подсолнухи хороши,— не хотела мать на далекие богатые земли. Она боялась потерять свои бедняцкие латки и самое большое наше богатство — ту десятину меж дорогами, что полосой упиралась в ширь степи липовый шлях, а головой чуть не касалась ветряка.

— Если дадут за все сто рублей золотом, продадим — и в путь,— сказал вчера отец и так расстроил этим, что она даже заболела.

Батько тоже расстроенный. Ему было что, а мать, посидев на току, с грустью сказала мне:

— Теперь у нас, сынку, три печали, как у того соловья, что свил низенько гнездо. Первая — нет людской хаты, другая — земелька наша перед горгом, а третья — лежит, словно горе, неведомая дорога. Ты тоже проси отца, чтоб никуда мы не ехали за тридевять земель. Давно ли на той Херсонщине голод косил людей, как траву? У нас и недород один поле, так лес хоть немного поспевает — гриба, или ягоды, или кисличку даст... У нас весной даже молоко пьется тут. А там и деревца не увидишь — разве что когда-нибудь в сон забредет.

Мне тоже стало страшно: как же можно обойтись без деревьев и леса, без родников, без подснежников и черемши, без грибов и земляники? Вот и сейчас вся наша хата пахнет земляникой, в одно окно заглядывает старая груша, а в другое — яблоня, что всегда напоминает мне бабусю. Разве это не роскошь? Нет, дальняя неведомая степь не радовала душу малого лесовика....

— Умывайся, умывайся, сынок,— торопит меня мать, отрезает ломоть ржаного хлеба и наливает из кувшина

кувшинчика сизое, еще с вечерними тенями молоко — и оно тоже пахнет земляникой.

Я даже спросонья вижу, что мать не перестала печалиться. В ее теперь поблекших, словно пересеянные в синьки, глазах прямо дымится тоска.

— Чего это вы, мама?

— Что тебе, Михайлик? — встрепенулась она и обласкала меня туманом своих очей.

— Чего-то вы такие сегодня с утра усталые или, может, приболели?

— Ничего, ничего, это я так.— И сразу печаль навалилась на нее, и наболевшие ресницы начинают дрожать, как у обиженного ребенка.

— Не надо, мамо! — прижимаюсь к ней.

— Ну да, не надо,— соглашается она, а несколько капелек падает на мой чуб, и мать защищает его от слезинок шершавой рукой.— Ой, бить меня некому: плачу, как сучка. Поезжай, Михайлик, поезжай и наглядись на леса — кто знает, увидишь ли их еще...

— Вы не печальтесь, мама, как-то оно будет,— хочу успокоить ее, но не знаю как.

— Ну да, как-то будет. Только очень не хочется бросать свое! Ну, как я покину тебя? — с болью и горькой усмешкой спрашивает она у яблони, на которой гнездятся кривобокопькие, с белым пушком плоды.

Яблоня покачивает ветвями, убаюкивает своих деток и молчит.

— А может, мама, вместе упремся на своем и перетянем батька?

— Ох, как трудно это сделать, Михайлик! Всю ночь сегодня ссорились и горевали. Ему тоже нелегко: такие тучи на душе, аж гремит... Может, в степях свободней людям. Но душа приросла к своему, к этим лужкам-бережкам. А там, в степях, не то что леса, даже луга, левады не найдешь. И не услышишь ни соловушки, ни кукушки, ни удода, ни коростеля.

— Ой! А какая ж там птица проживает?

— Очень большая — дрофа, рядом с ней гусак такой мелкий, как селезень против гусака. Но дрофа не поет. А что ж это за птица, когда перья есть, а голоса нет? Это ж у нас запоет соловей, так и звезды станут ближе.

— А батько где?

— Еще и не рассвело, когда он пошел в лес.

— Зачем?

— Может, прощаться с лесом, а может, дай бог, работу искать. Накричал на мои слезы и пошел.

С нерадостными мыслями я выхожу на погрустневший без хаты и навсса двор, где на зубах Обмсиной, как невидимый огонек, потрескивает упрямый подорожник. Увидев меня, Обмсиная тряхнула гривой, подняла голову и игриво заржала: что ей подорожник,— в глазах ее тоже стоят окутанные туманом и птичьим гомоном леса. Я открываю ворота, вскакиваю на Обмешую и выезжаю на темную от росы дорогу.

Сегодня и солнце за тучами будто тлело, и думки мои потемнели, а меж лопатками все ворошился холодок. Даже свою голубую дубраву я встречаю без радости, хотя в ней так же, как всегда, куковали кукушки и пахло земляникой.

Около прогалинки плакучая береза сыпнула слезами, совсем как мать, рядом всхлипнул невидимый родничок и сбросил с себя клубочек тумана, и так жаль мне стало этих лесов, таинственных просек, затерянных пасек, красноголовцев, что будут поджидать тебя в жатву! Я совсем расстроился и повернул удивленную Обмешую на дорогу, которая вела к Якимовой загороде. Может, застану Любу, так хоть расскажу про свою беду и заранее попрощаюсь с девочкой, которая, что ни принесет в школу, всем по крошечке разделит — такая уж у нее компанейская натура.

В загороде еще дремало в тенях, росе и мотыльках высокое разнотравье. Над ним отяжелевшие пчелы перебирали невидимые струны, а у корней гемнела влажная земляника. А ветерок уже обвевал траву, будил ее и тех ленивых мотыльков, что прикрыли крылом крыло и не горюют. Разве ж им в степи, на Херсонщину переселяться?

— Михайлик, ау-ау! — раздался из леса голос, а в загороде отозвалось голосистое, как тетка Василина, эхо.

— Это кто там аукается? — громко спрашиваю я дубраву и взглядом прощупываю опушку леса.

— Это я, Михайлик! Ау!

— А кто ты такая? — спрашиваю, будто не узнаю.

— Вот и не скажу!

— Ты, может, лесная мавка?

— Нет, я девочка из лесу, - приближается знакомый смех.

И вот с горшочком и узелком в руках на дорогу выбегает улыбающаяся Люба, широкая полотняная юбочка колокольчиком кружит у ее босых ног, а косы раскачиваются, как им хочется. Запыхавшись, она подбегает к Обмеш-

ной, снизу вверх смотрит на меня, еще для чего-то сто-
шивает:

— Ты приехал?

— А ты не видишь?

— Ну да, вижу! — радуются ее карие с крапинками гла-
за, радуется потрескавшийся узелок губ и ямочка под ни-

— Ко мне? Или по дороге заехал?

— По дороге.

— А почему ж не ко мне? Все б веселее было.

— Да к тебе.— Соскакиваю с лошади.— А ты чего
гами чечетку выбиваешь?

— Потому что обрадовалась.— Люба вытирает об ко-
ку руку, оглядывается, не видит ли кто, и протягивает к
хотные, красные от земляники пальцы.— Добрый день.

— Добрый день. Ты одна тут?

— Одна одинешенька. Если б не эхо за оградой, так не
знала бы, что и делать на свете.

— И что же ты делаешь на свете?

— Землянику в лесу собираю.— Поправляет сиреневую
блузку, на которой глазастые пуговки обиженно пощаду-
вали щечки.— Ее ж уродило в этом году, как росы!

— Правда?

— Ну, чуточку меньше.

— Почему ж не в загороде собираешь?

— Чтоб траву не вытоптать,— по-хозяйски отвечает де-
вочка, натягивая на голову платок, на котором так разбро-
саны серпы, что стали похожими на рожки молоденького
месяца.

— А у тебя косы подросли.

— Что мои,— равнодушно махнула рукой, но тут же
улыбнулась.— Вот у нашей тетки Василины косы — просто
поют на плечах и золотом стекают, хоть ладони подставляй.

— А это правда, что тетка Василина бросала своего
мужа?

— О! Пусти брехню как мак, а вырастет с кулак! —
возмутилась Люба.— Есть же такие черноротые — их, без-
голосых, прямо грызет зависть, что тетка Василина в са-
мом Виницком театре пела. А ты почему так долго не
приезжал?

— Некогда было — все с хатой возились,— набиваю се-
бе цену и начинаю спутывать Обменную, которая уже поти-
хоньку норовит вырваться на свободу.

— И как теперь хата?

— Лучше не спрашивай! — пренебрежительно оттопы-
риваю губы.— Полнехонько понабивалось скотины.

— Тоже скажешь! — Люба удивленно повела плечом.— Какой же это скотины?

— Да сверчков. Так все ночи поют, словно к свадьбе готовятся.

— И у нас когда-то этого добра столько было, что хоть фурой на ярмарку вывози.

— Что ж вы сделали?

— Вывели. Батько ходил к одной бабке-шептухе, что в Майданских лесах живет. У нее полная хата разного зелья и коренья. Так эта бабка травами и водой уничтожает всякую нечисть и помогает пчеле. А как она шепчет! — Люба пригнулась, расставила руки, прищурила глаза и по-старушечьи зашептала: — «Иди к воде — воду поздорови: здорова была, вода, и ключи новые — трутовые. Ты, вода, проходила землями, входила в море, очищала пески, и корни, и кремни, так прошу воды сней для помощи моей».

— Ох, у тебя выходит, как у настоящей шептухи,— удивляюсь я.

— Потому что несколько раз слышала, как она шепчет. А ты знаешь, наш барсук разжился на деток!

— Да ну?

— Правда.

— И что они делают?

— Что ж им делать? Лежат себе в норе и попискивают. Хочешь, послушаем?

Мы вдоль изгороди побежали в лес, из которого солнце уже начало понемногу выбирать росу и тени.

— Только тихонько-тихонько,— приложила Люба палец к губам. И мы на цыпочках стали приближаться к жилью зверька, откуда тянулась темная цепочка следов. Не доходя до загородки, она раздваивалась, видно, барсук знал, когда поспевают плоды, и теперь не наведывался к яблоням и кисличкам.

Обойдя нору, Люба осторожно опустилась на колени, приложила ухо к земле и зашептала:

— Вот тут слушай — они как раз под нами лежат.

— А ты откуда знаешь?

— Ухом разыскала место... О, слышишь?

— Нет.

— Сильней прижимайся к земле, теперь слышишь?

— Не знаю.

Земля отзывалась не то шорохами, не то попискиванием, и все равно ужас как интересно было подслушать ее тайну — чью-то жизнь, привороженную не солнцем, а землей

А видит ли когда-нибудь барсук солнце или рождается и гибнет в темноте? Вот кому не позавидуешь.

— Наш дядько Сергей еще прошлой осенью хотел убить барсука на жир, а батько не дали, и дядько за это обозвал его квашой. А что с того жира, если б уже не было на свете ни барсука, ни его деток? Правду я говорю, Михайлик?

— Правду... Ваш дядько тоже, как барсук, прятался в норе от революции.

— Он и теперь не очень любит днем показываться на люди. Вот если б ты до позднего вечера остался тут, мы б увидели всех барсучат. Они такие смешные! Повылазят из норы и принюхиваются ко всему, даже к лунным бликам — будто они пахнут.

На старой, обросшей мхом березе зацокала белка. Люба подняла голову, разыскала любознательного зверька, усмехнулась и сказала:

— Здравствуй, белочка!

Зверек шевельнул ушами и, глядя на нее, спустился ниже. Но на прогалине, раскачивая на спине лодочки ушей, появился заяц. Белка тотчас метнулась на другое дерево, а заяц стремглав кинулся в кусты.

— Свой своего напугался,— ласково улыбнулась девочка и сказала чьими-то словами: — Нету ладу ни меж людьми, ни меж зверьем.

Потом мы побежали к тому деревцу, где глупенькая трясогузка снесла яички. Она, как и в прошлом году, свила такое маленькое гнездышко, что должна была и днем и ночью держать хвост на ветру. А может, ей приятно так прохлаждаться? Птичка увидела нас, но не слетела с гнезда, будто вросла в него.

— Она меня узнает,— шепотом сказала Люба, и мы попятились назад.

— А чего тут, около ствола, столько битого стекла?

— Это я набросала,— с гордостью сказала Люба.— И кругом еще крапивы натрусила.

— Для чего?

— А ты не догадываешься?

— Нет.

— Ой, тут же такая беда была — проклятая гадина чуть не съела нашу трясогузку, уже до самого гнезда добралась. А бедная пташка сидит на яичках и не улетает. Хорошо, что я подоспела: схватила палку — и по гадине, и по гадине...

— Ты? — удивленно смотрю на Любу, на ее и сейчас разгневанное лицо.— И не испугалась?

— Испугалась, но не очень: то была не змея, а уж. А змей и взрослые боятся. После того и посыпала стеклом,— должны ведь птицы жить.

— Вот молодец!

— А ты разве не так бы сделал? Хочешь, я сейчас наварю чумацкого кулеша?

— Это какого ж чумацкого?

— С рыбою и с дымом,— засмеялась Люба.— Мой кулеш даже батька хвалит. Хочешь?

— Не хочу.

— И чем же тебя угощать?

— Ничем.

— Ты чего, Михайлик, сегодня такой невеселый? Может, дома неполадки какие или грызня?

— Есть о чем горевать человеку,— всплывало свое, и все потускнело вокруг, даже пчелы печальнее запели над разнотравьем.

— Что у тебя, Михайлик? — сразу стало грустным Любино смуглое личико и узелок губ, а ямочка под ним задрожала.

— Э, и говорить не хочется.

— А ты скажи, может, полегчает.

— Есть у меня три печали, как у того соловья, что свил низенько гнездо,— повторяю мамины слова.— Первая печаль — нет людской хаты, вторая — земелька наша перед торгом, а третья — лежит неведомая дорога.

— Неведомая дорога? — испугалась Люба.— А куда же она лежит, Михайлик?

— Далеко-далеко.

— Дальше Винницы?

— Что там Винница! Считай до самого моря, в степи, где совсем нет ни деревьев, ни лесов.

— Ой, горюшко! — вскрикнула девочка.— Как же там люди без леса живут?

— Живут, попривыкали.

— А чем они топят?

— Кураем, соломой.

— Ну как же они терпят такое? Не надо, Михайлик, туда ехать!

— Разве я хочу? Это все батько надумал.

— Попроси хорошенько его.

— Мама уже и слезы лила.

— А батько что?

— Сердится.

— Все они мужики, одинаковые. И наш сердится на маму чаще, чем надо. А моя мама такая, что грех ... покоситься на нее. Может, пойдем в курень?

— Зачем?

— Сядем — погорюем. Горевать лучше, когда никто не видит,— опечаленно глянула на дорогу, что шла себе и шла в зеленую тишь, играя с белыми тучками и синими полыньями неба.

Около куреня сушился сак, пропахший водорослями и рыбой, а в курене кто-то пошевеливал кусочки солнца. И нам стало совсем грустно.

— Михайлик, а в степях и земляники не будет? — охватив руками колени, спросила Люба.

— Нет.

— А что ж там будет?

— Абрикосы и арбузы. Там арбузы вот такущие, больше тебя растут.

— Это уже сказка.

— Сам батько говорил.

Люба недоверчиво посмотрела на меня, протянула горшочек с земляникой.

— Поешь, Михайлик.

— Не хочу.

— Недаром говорится: если печаль ест человека, так ему не до еды.— Она положила руку на кусочек солнца.

— Точнехонько так и мама говорит.

Люба помолчала, вздохнула и, уже не глядя на меня, смущенно проговорила:

— Если ты поедешь на чужбину, никто не будет так скучать, как я.

— Ничего, забудется.

— Вот и не забудется,— затуманились ее глаза, а бровки грустно собрались в оборку.

— Только взрослые долго одни по другому тоскуют. Про это и в книгах-романах пишут.

— Ничего ты не знаешь.— Люба заглянула мне в глаза.— Буду долго-долго скучать, как взрослая. Если я по птахе, когда она улетает, тоскую, так что говорить о тебе? Лучше не уезжай.

— Это уже как батько скомандует.

— Вот так и у нас — батько всему голова. Ты, Михайлик, приезжай и завтра, ведь кто знает, что дальше будет. Приедешь?

— Не знаю, Люба.

— А я все равно буду смотреть на дорогу...

Когда мы прощались, Люба снова порывалась угостить меня земляникой, но мне было не до того. Тоска стояла в моих глазах и на душе. Ее не могли развеять ни пастушки, которые за лесом весело спускались с пригорка, ни далекие ветряки, что мохнатились в тумане.

Домой я приехал поздно, когда уже месяц стряхивал на ясени влажное серебро. В хате притаились темнота и печаль.

Не требовалось большого ума, чтоб смекнуть, что родители не пришли к соглашению. Они молча сновали в сумерках, молча додумывали свое. Мать без слов поставила на стол молодой картофель с укропом и, перехватив мой взгляд, вздохнула. А батько наморщил брови и что-то пробубнил под нос.

В это время во дворе недовольно крякнула утка, гавкнул Рябко, кто-то успокоил его и потрогал калитку, ведущую из клуни в хату. Батько с матерью встрепенулись, сбрасывая с лица какую-то частицу грусти.

— К вам можно? — застревает в дверях заляпанный глиной дядько Владимир, который приряжался только на большие праздники. В будни же он носил полотняную сорочку и полотняные штаны собственного покроя: с двумя ширинками — спереди и сзади. Как только его хозяйский глаз улавливал, что штаны на коленях начинали протираться, он надевал их задом наперед.

— К вам можно? — снова повторяет дядечка.

— Да заходите уж, раз в дверях стоите,— неласково пригласил батько.

Но это не очень тронуло толстокожего дядечку, который хекнул и двинулся к столу.

— Что-то вы никогда не осчастливите нашу хату, так дай, думаю, по-свойски загляну к ним перед дождем,— заискивающе проговорил дядечка и этим немало удивил нас всех.

Батько исподлобья глянул на него.

— А откуда вы знаете, что будет дождь?

— Имею в своих костях календарь. Добрый вечер вам!

— Добрый вечер! Вас, вижу, груша приворожила.

— Вот и не угадали, Панас. Что груша? Куда она денется? Вы сначала осерчали на меня, а потом сами поняли, что она моя. Как говорится: и просо мое и воробьи мои.

— Не ваше просо и не ваши воробьи,— сразу отлился батько.

— И меж святыми бывает ссора,— не обижается дядька.— Послушаем, что скажут про это люди.

— Вы уже подобрали свидетелей?

— Подбираю, подбираю, Панас Демьянович. Я не привык, чтоб мое, пусть даже копеечное, пропадало, потому что за копейкой рубль стоит. Вот так, а не иначе надо жить-хозяйствовать. Но теперь такое время, когда каждый норовит обидеть хозяина... А это правда, что наш царь-государь собрал за границей аж целый мильон армии?

— Давно уже ваш царь-государь в земле лежит, царь-государь за границей силы собирает.

— Это вы меня пугать пришли?

— Да что вы, Панас? — развел руками гость.— Зачем мне кого-то пугать, если сам в революцию был пуганый. Я к вам по-тихому, по коммерческим делам.

— Коммерческим?!

— Ну да! Может, сойдемся. Сорока, того, на хвосте принесла, что вы собираетесь переселяться.

— Сорока ваша не сбрехала.

Мать и я вздохнули. Но дядько Владимир не понял нашей печали и бодро продолжал:

— Это вы правильно делаете, что собираетесь в степь. Там и земли больше, и после голода столько крещеного люда вымерло, что хату, а не этот хлев, за бесценок возьмете. Так я вот и заглянул к вам: не будем ли сватами?

— Что ж сватать пришли? Мою хату?

— На что мне это гнездо? Вот ваша десятинка над шляхом сгодилась бы мне. Правда, не очень она удобная. Толкут ее на распутье, да и земелька могла быть лучшей,— нарочно охаивает наше самое большое богатство, чтоб сбить цену.— Но если унавозить ее, так что-то бог зародит. Как вы на то, если я... того?

— И для чего вам к своим девяти хорошим десятинкам добавлять мою плохую? Какой интерес?

— Интерес! Интерес, Панас, для круглого числа! Во всем люблю круглые числа. Даже жинку брал с круглым числом — шестнадцатигодку. Было б ей семнадцать — не взял бы.— И дядечка Владимир хихикнул, довольный своим остроумием.

Я никогда не видел его таким разговорчивым. Сидит всегда на людях, словно колокол безъязыкий, держит в себе слова, как будто клад в земле. А тут, видите, даже шутить изволил. Коммерция развязала-таки язык. Теперь бы ему, верно, и тетка Марийка позавидовала б.

Я так начинаю злиться на дядечку, так сердито кошусь на него, что даже батько удивленно гляпул на меня. А дядечка Владимир дальше прядет свою пряжу, как паук паутину, жалсет нас, желает счастья и все нахваливает те края, где у людей нет недостатка в земле.

— Там середняку нарезают даже по двадцать — двадцать пять десятин, а тут... трудно сеять, когда нечего пахать.

— Чего б вам, Владимир, не поехать туда? — отозвалась сквозь слезы мать.

— Мне? — остолбенел дядечка.— Как это? И чего это мне? Разве мы хуже людей? — По сразу ж спохватился, что сболтнул лишнее.— Я, жинка добрая, уже и тут приспособился к своим неполадкам, к своим десятинкам. Это, конечно, не та роскошь, когда чернозем на сажень залегает, но без хлеба не сидим! Так будем сватами?

— Вы ж говорили, что не имеете за душой ни копейки,— подкусил батько.

— Для вас вытрясу последнее,— расщедрился дядечка.— Чего не дотрушу — займу, на чью-то белую бумагу всю душу заложу. Какую ж цену назначите за свою десятинку?

— Сто двадцать рублей золотом.

— Что-что?! — сделал вид, что недослышал, дядечка и повернул к отцу волосатое ухо.

— Сто двадцать, говорю.

— Сто двадцать? — ужаснулся дядечка, сразу стал вислогубым и выпучил глаза на батька.— Бойтесь, Панас, бога и людей. Красная ей цена — шестьдесят рублей, но я вам по-свойски накину еще десятку. Знайте мою доброту.

— Разве вы не разминулись с ней давно?

— Ой, Панас, Панас, держите свои насмешечки хоть на кончике языка... Так за семьдесят отдадите? У меня же пятерки, как звезды в жатву,— из самого месяца отлиты.

— Откуда они взялись у вас?

— Откуда? — спохватился дядечка.— Это долгая сказка. Так давайте свою руку — позолочу ее, где уж мое не пропадало.

Начался тот нудный торг, когда один много просит, а другой мало дает. Батько понемногу спускался с горы, а дядечка еще медленней, как слизень полз в гору. Торг застрял на девяноста рублях и дальше — ни тпру, ни ну.

— Вот все на небе святые видят, что переплачиваю! — добрался-таки дядечка до неба и вынул из кармана засаленный кошелек. Что-то в нем звякнуло, и жадюга, как

музыку, уловил этот звук, погрустнел, чуя разлуку.— Так девяносто?

— Прибивайтесь уж к круглому числу, ведь вы к... так любите.

— Сам бог-отец видит: от души отрываю! — и даже р... ки протянул вверх, потом смекнул, что негоже подним... их ко всевышнему с кошельком.

Батько покачал головой.

— Ох, Владимир, Владимир, заведет вас скупердяйство и грошелюбство не до бога, а по следам того беспятого...

— Какое там грошелюбство! Чужие деньги и дурень считает во сне,— разгневался дядечка, и глаза у него запрыгали.

Не знаю, как уж это случилось, но кто-то меня дернул за язык — и я неожиданно для себя и всех вскочил в торг:

— Дядечка Владимир, и зачем так торговаться, если вы деньги мерками меряете?

В хате сразу стало так тихо, что песня сверчков гряну... ла, как свадебная музыка.

— Что это?! Что?! — оторопел, растерялся, вытаращился и стал наливаться свекольным соком дядечка, а мать закрыла ладонью рот и, будто ошпаренная, выскочила из хаты.

Я сник, с опаской наблюдая, как злость перекашивает дядькино лицо.

— Что это? — еще раз повторил дядечка и, шатаясь, поднялся со скамейки.

— Ничего, Владимир. Ну ляпнул себе что-то перед сном этот дремайла. Разве оно, глупое, что-то смыслит? — примирительно сказал батько.

— Э, нет, нет! Не дурите мне голову: я тоже мозги не в решетеношу. Это ваше, ваше глумление, все ваши насмешки отозвались в нем! — взвизгнул гость.— Я всегда знал, что вы на меня имеете зуб. И хлопца науськиваете на меня. Я тоже!.. Я-я-я! — Дядечка дрожащей рукой сунул кошелек в карман и, захлебываясь от возмущения и обиды, выскочил из хаты.

— Вот это доторговались! — сказал сам себе батько, смерил меня долгим взглядом, в глазах его и следа не осталось от веселых бесенят.— Ну?

Я съежился, опустил голову, догадываясь, что стоит за тем «ну», и соображая, как бы его добраться до дверей, но батько уже загородил дорогу.

— У тебя, слышишь, глаза не спеклись от стыда?

Моргнул я веками раз-другой, убедился, что глаза не попеклись,— и ни звука.

Вошла мать, стала около печи, не то усмехаясь, не то хмурясь.

— Так чего ты, умник, воды в рот набрал? — строго допытывается батько.— Ну, скажи хоть слово!

— А что ж мне говорить,— пожимаю плечами и снова моргаю.— Нет, глаза-таки не спеклись.

— Откуда ж ты, бестолочь, знаешь, что дядечка деньги мерками меряет? Ты с ним, может, в компании был?

— Нет.

— Значит, не был в компании,— устанавливает батько истину.— Так где выкопал такое?

— Если скажу, вы еще больше гневаться будете.

— Куда уж больше! Не мни свое слово, говори!

— Так вы ж сами это говорили про дядьку Владимира.

— Я? — удивился, нахмурился батько и неожиданно улыбнулся.— Таки говорил! И хоть у тебя уши, как распаренные вареники, зачем встрял в разговор взрослых? Зачем?

— Я ж хотел помочь вам,— невольно коснулся руками своих обиженных ушей.

— Дождались помощника! — посмотрел отец на маму.— Это не ты его настропалила?

— Ну вы скажете! — будто с укором покачал я головой: уже видно было, что мне сегодня не перепадет по загривку.— Разве ж я не знаю, как у нас меряют деньги?

— А как? — вздохнув, поинтересовался батько.

— У нас чужие деньги меряют, как картошку: и возами, и мешками, и мерками, и чугунами, и горшками...

— Ох, мудрый же ты! Все тащишь в свою голову. Гляди, чтоб когда-нибудь не поплатилась она: беда всегда за умных цепляется.— И уже с улыбкой обратился к матери:— А видала, как этот купец выскочил из хаты?

— Да видела! — вздохнула мать, постелила мне постель и, грустно усмехнувшись, сказала:— Спи, дитя, пусть доля твоя растет...

Как много слышится мне в этих словах! Они сразу приблизили к нашей хате-клуне саму Долю — эту загадочную женщину, которая не очень спешит встретиться с людьми...

Засыпая, я слышал, как батько с матерью снова начали спорить, а в свой сон захватил мамины слезы. Они сначала будто падали на землю, а потом понеслись вверх и там смешались со звездной пылью. Разве так может быть? Пока подумал, передо мной расступилась хата, село, и я очутился в бескрайних степях перед удивленным табуном

дроф. Они сейчас не знают, что им делать: удирать или идти ко мне. А за ними седеет и седеет ковыль, и к ним синим цветом пробивается море.

Потом сон переносил и переносил меня то к поникшей житу около ветряков, то к Якимовой загороде, у которой настороженно барсук со своими барсучатами, то в то место, где меня ждали огорченные, как дети, красноголовцы. И вдруг они заговорили человеческими голосами:

— Михайлик, не надо ехать в степи...

— Разве ж я хочу ехать? — говорю красноголовцам. Они понимают меня и с сочувствием покачивают своими шапками.

И в это время кто-то тряхнул мое плечо.

— Михайлик, Михайлик!

Я просыпаюсь и в дремотном месячном сиянии вижу склонившегося ко мне отца.

— Чего вам? — приподнимаюсь с топчана.— Еще ж рано.

— Ну да, рано,— соглашается отец.— Ты не знаешь, где мама?

— Мама? — сразу соскакиваю на пол.

— Ну да,— грустно-грустно смотрит отец в окно.— Проснулся, а ее нет.

— Где ж она может быть? — ужасаюсь я.

— Не пошла ли прощаться с десятинкой? Ну, спи, спи.— Батько успокаивающе кладет руку на мою голову и выходит из хаты.

Хлопнула калитка, потом заскрипели ворота — батько пошел в поле. Испуганный, встревоженный, я выскакиваю на затопленный лунным разливом двор.

Над огородами, журавлями и подсиненными хатами дрожало марево тихого росяного сна, в нем еле-еле шевелилось убаюканное село. И только на невидимой лебаде не спал коростель. На траве, подпиливая тенью, лежала Обменная. Она глянула на меня, вздохнула, на глазу ее блеснула то ли слеза, то ли росинка. Надеясь на чудо, я мысленно спрашиваю ее: где ж моя мама? Но чуда не случилось — лошадь молчала, как и надлежит ей молчать весь век.

Тогда я решаю тоже пойти в поле. Спросонья заскрипели ворота, и я очутился на улице под тенями наших ясеней и вишен тетки Дарки. Тут я сразу стал меньше, а свет — больше, больше, и лунный туманец прорастал из него и плыл по нему, цепляясь за огороды, плетни, деревья. На другом краю улицы показался отец. Я хотел крик-

нуть, броситься вдогонку за ним, но вдруг что-то шевельнулось под плетнем. Я попятился, а на дорогу осторожно выглянула ежиха, во рту она держала маленького ежонка. Прислушиваясь, она остановилась, повела головкой, а потом перебежала улицу, зашуршала в бурьяне и перебралась на наш огород.

Встревоженный, удивленный, я гляжу ей вслед, а в это время что-то зашелестело в углу садика, оттуда, из теней, медленно-медленно, пошатываясь, вышла мать. Вот она подошла к яблоне, прижалась руками и лицом к ней и что-то зашептала, перемешивая слова и вздохи. Прощалась она с деревом или поверяла ему свою печаль? Затем как во сне мать пошла на огород и остановилась около голова стого подсолнуха. Она с ним тоже заговорила, а он молча покачивал головой, словно и ему была понятна человеческая печаль.

И мне показалось, что мать коснулась руками не подсолнуха, а наклонила к себе мою голову. Всю тревогу как рукой сняло. Успокоенный, я улыбаюсь миру, дедусю-месяцу, и меня вдруг сразу окутывает росяной сон и так одолевает, что я едва дохожу до хаты и падаю на топчан.

Засыпая, я еще услышал, как вошла мать, укропом, подсолнухами и росой потянуло от ее одежды и рук, что легко прикасались к моим видениям.

Из-за этих ночных тревог я проснулся раньше обычного и стал прислушиваться к рассвету.

Я и теперь прислушиваюсь! Меня до сих пор волнует, как собирает рассвет еще темные росы, собирает по краям неба звезды, сладко вздыхая, бредет среди туманов, открывает двери какой-нибудь хаты-беляшки, посылает дивчину по воду, а потом раскроет те двери, за которыми почевало солнце, и усмехнется, довольный своей работой. Я и теперь встречаюсь с солнцем в поле, в лесах или на речке и приучаю к этому своих детей...

В хату входят отец и мать и молча удивляются, что я уже встал. У отца меж бровей собралась печаль, а глаза матери, видно, и сегодня купались в слезах. Пока я это прикидываю в уме, на дворе приветливо такает утка.

— Кого б это так рано? — поглядел батько на мать. Видно, ему хотелось, чтоб она заговорила с ним.

— Кто его знает, может, Дарка.

Но это была не тетка Дарка, потому что в двери кто-то тихонько постучал.

— Заходите, заходите.— Мать выхватила из огня кочергу и поставила в угол.

Двери открылись, и мы увидели на пороге смущенную Любу, в руках она держала зеленоватый горшочек с земляникой.

— Доброе утро вам,— поклонилась Люба.

— Доброе утро, дивчинка. Ты кто такая? — спросила мать.

— Я, тетечка, Люба,— робко сказала девочка и улыбнулась, как ростинка.

— А! — сразу догадалась мать.— Проходи, проходи ближе. Ты к Михайлику?

— Нет, тетечка, я к вам.

— У тебя к нам есть дело? — удивился батько и грозно глянул на меня.— Это уж ты, умник, что-то натворил? Давно на твоих плечах не танцевал ремень.

— Вот вечно вы на меня,— обиделся я.

— Так что ж у тебя, моргунья, к нам? — подошел батько к Любе, с любопытством разглядывая ее смуглое личико, аккуратно заплетенные косички и те самые пуговки на блузе, что почему-то обиженно понадували щечки.

Люба подняла голову и грустно поглядела на батька.

— Михайло мне сказал, что вы собираетесь ехать туда, где совсем нет леса, так я вам принесла земляники, ее ведь там тоже не будет,— протянула отцу горшочек и уже совсем тихонько прошептала: — А мы с Михайликом не хотим, чтоб вы ехали.

— Ты смотри, — растерянно сказал батько и даже захлопал вежами. Он поставил горшочек на стол и одной рукой привлек Любу к себе.

Около печи всхлипнула мать и уже намерилась выйти в клуню.

— Подожди, Ганя,— ласково остановил ее отец.— Ты не видишь, что теперь малые начинают учить старших?

— Может, послушаем их, Панас?

— Да, наверно, придется послушать, а то, гляди, и не узнаешь, где тебя по почам искать,— согласился батько.

— Ой, спасибо, дядечка... Еще раз спасибо,— сказала Люба, запнулась, поглядела на отца.— Я вам два раза сказала спасибо, а больше не знаю, как уже и благодарить....

— Спасибо, доченька, и тебе — и за земляничку и за то, что пришла к нам,— сердечно сказал батько.

А Люба радостно посмотрела на меня и впервые улыбнулась в нашей хате, и усмехнулись все ее надутые пуговки...

ГЛАВА ВТОРАЯ

В эту ночь я во всех снах плыл на челне — по воде, по росе, по траве и даже по чьей-то конопле, что стояла, будто Дунай. И из полузабытья тоже выплывал на челне. Еще не раскрывая глаз, я всем телом слушаю лад в нашей хате, слышу, как приятно журчит, обвивается вокруг маминого отцовский голос, как молодцевато выводит свое «го-го» огонь в печи, как ужом шипит на него кипяток, как душисто сует по полу полынный веник. И в моих ушах зазвенели-заплясали свадебные песни:

До нас, невістко, до нас,
А у нас усе гаразд:
Сама піч хліб пече,
Віник хату й те

Я тут же закрытыми глазами вижу эту свадебную печь с подрумяненными хлебинами и веселею.

— Чего-то еще улыбается,— грустно говорит мать, думая, что я сплю.

— Наверно, и во сне читает какую-то книжку,— мягко отвечает отец.

— Ноги вон потрескались на росе, как деревяшки.

— На росе потрескались, на росе и заживут.

— Хоть бы на какие посолы для него достались, — жалеет меня мать.

— Пусть ногами чувствует землю — так скорее и гапцором и человеком станет.

На отцовские слова я говорю «гм», открываю глаза и поднимаюсь с топчана. Отец глянул на меня, удивился, насмешливо сузил один глаз и будто с большим почтением спросил:

— Хорошо ли спали, сухими ли встали?

Я снова говорю «гм» и смеюсь. А батько, спрятав насмешку под короткие усы, уже заходит с другой стороны — начинает меня подхваливать:

— Что за хозяйственное дитя у нас: когда спит — не ест, а когда ест — не дремлет.

— А чего ж дремать около миски? — безобидно отвечаю и, сколько могу, высовываюсь в окно, за которым уже начинает светлеть смородина.

— Не терпится зелено оскомину набить? — разгадывает отец мое намерение.

— Очень она мне нужна! — И я начинаю смотреть поверх смородинного куста, будто он меня вовсе не интересует.

На огородах еще вылеживается туман, где-то около бондарского колодца его расклевывают петухи, а за петухами косарь отбивает косу, и за косарем на леваде подает голос коростель, а за ним с самой дороги выходит солнце, и придорожная верба красуется в его короне.

На улице появляется с граблями на плече насупленный дядько Владимир, он смотрит только на свои ноги. Заметив наших кур, он схватился обеими руками за грабли, махнул своим оружием, и куры, теряя перья, шустро взметнулись выше плетней.

— А чтоб вы сму поздыхали до вечера! — говорит ни вдогонку дядечка Владимир, потом украдкой оглядывается на нашу клуню, замечает меня, сразу хекает и исчезает за хатами. А мне снова весело.

Дядько Владимир еще с марта враждует с нашими курами, а заодно и с дядькой Миколой. А за что? Когда мать сажала на яйца квочку, у нас был в гостях дядько Микола; он сразу своим хитроватым оком полез в решето, в котором лежали одни кругленькие яйца.

— А почему вы, Галя, на долгоносые не сажаете? — присел он около решета, на которое уже мостилась квочка.

— Та! — отмахнулась мать.

— Э, нет, скажите, Галя, что вы наколдовали, а то я из вашей хаты не уйду.

— Что там говорить? Заметила, что из долгоносых яичек чаще всего вылупляются петушки.

— Да что вы?! — удивляется дядько Микола.— Век учись, а в курах не разберешься. Вот теперь я уйду из вашей хаты.

И вероятно, чтоб проверить мамины слова, он сразу же отправился к дядьке Владимиру и по секрету посоветовал ему сажать квочку исключительно на долгоносые яйца, потому что, дескать, из них выводятся одни курочки. Дядько Владимир и тетка Марийка послушались лукавого советчика, и вывелись у них из двадцати яиц девятнадцать петухов и одна курочка, а у нас наоборот. Ох, и гневался же дядько Владимир и все обещал кому-то укоротить и язык и день. Вот из-за этой комедии до сих пор огнем дышит дядько Владимир на наших кур и на дядьку Миколу.

Но это нам не в диковинку: на кого только не гневается и кому не завидует дядько Владимир! Если послушать его, так нет в нашем селе, нет и на всем белом свете ни одного хорошего человека. Особенно ненавидел он тех, у кого в руках или в голове больше ума, чем у него. Чужой ум дядечка считал своим личным оскорблением. Когда-то

умел он гнуть и пригибать добрых мастеров или умников, а теперь приходилось довольствоваться тем, что их славу мазал дегтем,— и не заметил, как все свои годы, весь век в болото втоптал.

Не угодила дядечке и новая власть. Это же раньше были и цари, и князья, и графы, и даже бароны, а теперь все стали товарищами. Так разве это порядок? И за чем только смотрит заграница? А когда Литинский финотдел не принял у него налога ни золотом, ни серебром царской чеканки, он сначала оторопел, потом разгневался, а затем сжекнул, что к чему, выбежал на улицу, вскочил на свой воз и погнал домой волов, будто коней. Чтоб они еще быстрей бежали, он стегал их и всю дорогу жужжал, как овод. И неразумная скотина бежала, словно бешеная. Ему так не терпелось, что он ночью обошел своих единомышленников и, хекая и откашливаясь, сыпал и сыпал в их уши «политику». Дядечка уже точно знал, что новая власть повисла на одном волоске, потому что у нее даже золота-серебра не принимает заграница.

С тех пор хитроумный политик стал ждать заграницу и лепить перед богом тощенькие самодельные свечечки. Даже свои золотые надежды дядечка оплачивал скупыми копейками. Не зря говорили люди, что он, пока простится с грошем, двадцать раз обернет его в кулаке..

Сегодня и небу и солнцу нездоровилось, они томились, и даль стояла такая, словно там кто-то перелопачивал солнечные и месячные лучи. И лес и птицы в нем почему-то притихли, а журчащий ручеек пел и пел свою песенку, еще и на дармовщинку играл размытыми корнями

Вот я прямо с Обменной вижу под осиной близнецов-красноголовцев. Они совсем похожи на тех, что просили меня во сне не ехать в херсонские степи. Я приглядываюсь, нет ли у них ротиков, прислушиваюсь, не заговорят ли они, но грибы, гордясь красными шапками, молчат. Видно, только во сне говорят они.

Я соскакиваю с Обменной, обшариваю взглядом лес. По всему чувствуется, что тут еще должны быть грибы, но они так запрятались, что, наверно, и солнце их не найдет. Не всегда ли так получается: хороший гриб никак не найдешь, а поганка сама в глаза лезет А это что? Прямо от комля березы отклонился толстенный-претолстенный боровик. Дерево примяло ему шапку, а из нее прорастает грибок-малыш. Такая находка даже Любу порадует!

Теперь уже нечего думать взобраться на Обменную: почуяв свободу, она скалит на меня зубы и брыкается,

будто кто-то нанял ее для такого дела. Хорошо еще, что я повод не выпустил из рук. Вот так, с грибами в одной руке, с поводом в другой, потихоньку дохожу до Якимовой заимки, роды, где теперь трава просто дымится запахами и привольным солнцем. Тут, на дороге, спутываю нашу лукавую и с грибами спешу к курешю. Но ни там, ни на пасеке Любы нет. Так что мне делать? Я кладу на видное место грибы, наказываю, чтоб они не удрали из куреня, а сам думаю махнуть в осинник поискать красноголовцев. Есть там такое место!

Около барсучьей норы ко мне снова ни с того ни с сего прицепился вопрос: увидит барсук солнце или в темноте так и пробудет всю жизнь? Я ложусь на землю, прижимаюсь ухом к тому месту, под которым должен выживаться барсук с барсучатами. Вот что-то слегка зашелестело — то ли подо мной, то ли за мной. Наверно, зашевелилась барсучья семейка. Может, она как раз уселась за стол и орудует около миски? Я начинаю усмехаться, мысленно уже всовываю в барсучьи лапы ложки, а в это время меня ошпаривает смех.

— Может, тебе подушку подложить? Будешь вылеживаться, как барсук.

Я отрываю голову от земли, рядом со мной перегибается от смеха Люба, в руке ее покачивается наполненная чем-то торбочка, и она кладет ее на то самое место, к какому прижималось мое ухо.

— И чего б это я сразу все зубы продавал? — говорю немного недовольно.

— Обрадовалась, что тебя увидела,— как тростинка, раскачивается Люба.— Я так и знала, что ты приедешь сегодня.

— Откуда ж это?

— Сама не знаю,— пожала девочка худенькими плечами.— Так, значит, уже не поедете в степи?

— Не поедем. Ты тоже помогла нам с мамой.

— Так уж вышло,— радуется Люба.— А ты что-то привез мне?

— А что тебе надо было привезти?

— Разве не догадываешься? Какую-нибудь книжку.

— Привез сказки. Страшные-страшные!

— Про ведьм и чертей? — сразу нахмурилась девочка.

— Про них.

— Я про них и слышать не хочу.

— Почему?

— Как начитаешься их, страшно становится одной в

лесу.— Девочка боязливо оглянулась назад, словно там, за деревом, кишела разная погань.

— А мне вот совсем не страшно,— отчаянно вру, а сам вспоминаю, как мне ночью черные дедовы штаны показались чертом.

— Так ты же хлопец, ты и не должен бояться нечисти. Мой батько говорит, чтоб я ничего не боялась, а я, все равно боюсь.

— А чего ты еще боишься?

— Грома и совы.

— Совы?

— Ну да. Она вечером так муторно кричит, что волосы сами дыбом встают. И глаза у нее страшно светятся ночью. Я забиваюсь батьке под руку и только тогда засыпаю. Зато как славно тут на рассвете! Будят меня то соловей, то кукушка, то иволга, то удод, а то и роса. Ты сотового меда не хочешь?

И хоть мне очень хочется попробовать сладкого, я так отнекиваюсь, будто каждый день вижу мед в своей хате.

— Вот и зря. Мед — это здоровье,— говорит чьими-то словами Люба.

— Ну, если здоровье, так попробую.

— Вот и хорошо,— показывает редкие зубы девочка.— А может, тебе и чумацкого супа сварить?

— Да нет, не стоит.

— Я все набиваюсь, а ты отказываешься и отказываешься. Гордый почему-то... Михайлик, а я тебе что-то хочу сказать.— И девочка, оглянувшись, смущенно посмотрела на меня.— Сказать или нет?

Я тоже почему-то смущаюсь и тоже озираюсь вокруг.

— Говори, если хочешь что-то...

— Дай отдышаться. Только ты никому ни звука. Слышишь? Так вот, вчера у моей тетки Василины был из самой Винницы какой-то главный над певцами. Он такой пузатый и смешной-смешной! Как запоет, так у него рот становится пастью — целый горшок влез бы туда. Он привез тетке какие-то ноты...

— И что?

— Ну, а тетка Василина возьми да похвались ему, что я тоже хорошо пою и вывожу подголоском. Вот ему и захотелось послушать меня. А я все стеснялась и стеснялась перед городским. Тогда моя тетка сказала, что мы вместе запоем. И мы запели вместе,— ведь так и легче и не стыдно.

— И что дальше?

Люба смешно оттопырила губы, закатила глаза, как тот главный над певцами, и засмеялась.

— Дальше этот главный взял и прижал меня к сер- поцеловал в косичку, потом подергал ее и сказал, что я — голос!

— А ты ему что?

— А я тихонько сказала: спасибо, дядько. И ему это очень понравилось, потому что он рассмеялся и еще раз поцеловал меня.

— Ну и молодец! — вырвалось у меня.

— Он или я? — доверчиво спросила Люба.

— Вместе.

На это Люба рассудительно ответила:

— Вот так живет человек и не знает, что он — голос Главный над певцами обещал как-нибудь и меня и тетю Василину вызвать в Винницу. Тогда я там и театр и трамвай увижу.

— Везет же людям! — говорю я, а Люба начинает смеяться.— И что ты тому главному пела?

— Грустную: «Ой, під яром, яром пшениченька яра, а в долині овес». И веснянки пела, тоже грустные. А он сказал, что в них живут голоса каких-то предков. Уж такой умный человек, что и половины слов его не поймешь. И моему отцу сказал, что я — голос.

— А он что на это?

— Разгладил усы и сказал: раз такое время, так он купит мне новые сапожки, и я начну их носить еще до снега, чтоб не застудить голос,— тростинкой раскачивалась и радостно щебетала девочка.— Отец у меня такой смешной, а кто не знает его, думает, что он очень сердитый. Это усы делают его таким — они у него серпастые, коровистые и залазят куда хотят, даже в рот. Пойдем в курень.

— А что у тебя в торбочке?

— Разве не видишь? Липовый цвет.

— На чай собираешь?

— Нет, наша кооперация принимает его на лекарство. Вот я и зарабатываю себе на тетради. Насобираю цвету на целый серебряный рубль, потому что очень люблю, чтобы много было тетрадей. Давай вместе собирать. У меня в курене и насушим, на солнце ведь нельзя. Как ты?

— Можно и вместе.

— Так сначала пойдем, посиш меду.

Около нас шевельнулась чья-то тень. Я оглянулся. К Любе подошел со старой берданкой в руках темнолицый, с вывернутыми губами дядько Сергей, тот, что до недавне-

по времени прятался в разных тайниках от революции. Он вперил в меня тяжелый взгляд и насмешливо спросил Любу:

— Кого это ты, девка, хочешь медом потчевать?

— Добрый день, дядько,— с достоинством ответила Люба.

— Не очень-то он добрый: все меняется теперь. Так кого ты будешь медом угощать?

— Михайлика. Мы с ним вместе в школу ходим.

— Сейчас не то что малые, а и старые одурели: все по-чему-то грамотными хотят стать. А кто ж будет свиней пасти? — Дядько Сергей пренебрежительно ткнул в меня берданкой.— Чей он?

Люба сказала. У охотника сразу позимнели и глаза, и все узковатое лицо. Он презрительно оглядывает меня с головы до ног и начинает жевать губами.

— Так-так-так. Выходит, ты потомок того злоязычника, который верховодит в комзлыднях и все чего-то против меня имеет? А?

Я растерялся, а Люба прыснула.

— Ты чего? — Дядько Сергей подбросил вверх черные дужки бровей.

— Вы и про дядьку Миколу говорили, что он что-то против вас имеет.

— И это правда.

— И мой батько тоже что-то имеет против вас.

Теперь растерялся дядько Сергей, хлопнул раз и другой черными неровными ресницами, сплюнул:

— Хоть от детей дознаешься, что про тебя родня думает. Ох, недаром я так упирался, когда моя сестра выходила за того серпоусого. Что ж, девка, подкармливай, подкармливай злыдней медом, а они твоего дядьку возьмут за жабры.— И охотник потрогал рукой горло, где, по-видимому, должны быть жабры.— Но зачем я тебе говорю, это не твоего ума дело. Скажи, вон там барсук еще живет? — И дядько Сергей нацелился берданкой на нору зверька.

— Что вы делаете? — испуганно вскрикнула Люба.

На вывернутых губах охотника причудливо выкривилась усмешка.

— Не бойся, девка, он мне теперь не нужен. Вот когда нагуляет жиру, я доберусь до него. Тут какой-нибудь козочки или зайца не видела?

— Нет тут ни козочки, ни зайца.

Дядько Сергей хмыкнул.

— Да неужели нет? Так я и поверю тебе!

— А вы разве хоть кому-нибудь верили?

— Царю верил, и то зря — прогадал! — зло сказал он. Хотел еще что-то добавить, но раздумал, крутнулся и, держа берданку наперевес, стал осторожно пробираться в глубь притихшего леса.

— Ну, попрощается сегодня с жизнью какой-нибудь зверек или пташка. Не приведи господь иметь такого родича! — сказала Люба опять чьими-то словами.— Батько говорит, что у него закаменела совесть.

— А у твоего дядьки правда есть жабры?

Люба прыснула.

— Чего ж ты у него не спросил? Вот было б весело. Пойдем же в курень.

Но после слов дядьки Сергея мне даже меда не захотелось.

— Лучше сначала нарвем липового цвету.

— Ну, как хочешь. Я знаю такую липу, что пахнет на пол-леса. Наверно, ее цвет самый лечебный. Ведь правда хорошо будет, если он поможет доброму человеку: возьмет и сделает его здоровым?

— Плохо ли! А далеко эта липа?

— Около оврага. Вот разбросаю цвет, и побежим.

Я посмотрел на Обменную, на небо, сплошь обложенное неспокойными грозно-фиолетовыми тучами, а Люба тем временем уже выскочила из своего лесного жилья, и мы побежали к той липе, что должна была помочь добрым людям. Стройная, как тополь, она немного наклонилась над яром и стряхивала на него и на лес свои запахи, вокруг нее живой сеткой роились пчелы. Когда я влез на дерево, из-за яра откликнулся гром, и Люба испуганно вскрикнула.

— Чего ты?

— Боюсь грома,— призналась девочка.— Может, вернемся?

— Пустяки. Нарвем цвету и вернемся.

— Хорошо тебе говорить «пустяки»! А у меня уже и руки и душа дрожат.

— А как же рубль на тетрадки?

— Не хочу и рубля, если гремит! О! Слышишь?

Снова загремело, синим корнем вырисовалась молния, раскроила небо и погасла в туче.

— Ты не бойся,— успокаивал я Любу,— это Илья калачи разбрасывает.

— Если б калачи, а то громы и молнии. Вот уже и лес испугался грозы,— заныла девочка.

И правда, под темным небом растревожился, загудел

лес, закипела листва, деревьям хотелось бежать, но они не знали, куда податься, и со стоном метались во все стороны. Снова мигнула молния раз и второй, лес и сверху, и с середины осветился недобрым голубым огнем, а гром, как бешеный, лупнул в несколько цепов, словно взялся обмолотить землю. И она под ударами грома начала испуганно кренiться в безвесть. Теперь и мне стало страшно.

— Михайлик, сейчас же слазь! — В голосе Любы уже слышны слезы.

И только я, обдирая ноги, скатился с липы, как на землю стеной обрушился ливень. Сразу лес стал невидимым, лишь стон его охватывал, зажимал и перекатывался через нас. Но вот молния угодила в самую сердцевину леса, и он осветился громадным фиолетовым фонарем. А когда молния погасла, мы увидели другой огонь: у самого оврага, заламывая руки, горело дерево.

— Михайлик, надо спрятаться.

— Куда ж мы спрячемся?

— Я знаю такое дупло, большое-большое. Там мы вдвоем поместимся,— сказала Люба, вытирая мокрое лицо.

И я, пустая голова, даже не подумав, какая беда могла постичь то дерево, побежал за Любой. Платок сполз ей на плечи, вокруг головы, сливаясь с потоками воды, затанцевали косички и ленты, а девочка разрезала сизую пелену дождя, скрывалась в ней и снова появлялась, как тень. Гром бросал ее на землю, она подхватывалась и бежала дальше.

— Так и голоса можно лишиться,— хотел я пошутить, но Люба и ухом не повела.

Мы тревожно метались меж громами и молниями, а дождь стирал и прополаскивал нас, как хотел.

— Вот здесь! — Девочка вдруг остановилась перед старым ветвистым дубом, у корней которого темнел неровный обугленный провал.

«Дуб, дуб, кто тебе душу выел? — мысленно спросил я у дерева и сам ответил: — Годы мне выели сердцевину и душу».

И вопрос и ответ очень мне понравились, я хотел было загордиться, но раздумал: наверно, где-нибудь вычитал.

— Михайлик, лезь сюда!

Я вошел в дупло, словно в каморку. Там было темно и почти сухо. Люба успела обтереться, отжать платок и немного успокоиться. Но вот снова, как из пушки, бабахнул гром, дуб заскрипел всеми своими косточками,

и лесовичка двумя руками вцепилась в меня и тут же, сама себя успокаивая, спросила:

— Правда же, тут не так страшно?

— Ну конечно,— ответил я, совсем забыв, как опасно в грозу быть даже близко от большого дерева. Оно скрипело и стонало, сбрасывая на землю потоки дождя, а на нас — крошки своей истлевшей сердцевины.

— Михайлик, может, ты сказку расскажешь?

— Так от нее тебе еще страшней будет.

— И то правда,— вздохнула девочка, притихла на какое-то время и вдруг испуганно ойкнула.

— Ты чего?

— Ой, Михайлик, я совсем забыла про куропатку! Что теперь будет с ней и с ее детками?

— А что с ними может быть?

— Ты ничего не знаешь! У нее только-только вывелись детки, они совсем беззащитные. Вода же затопит их. Бежим спасать их! Все равно мокрей, чем сейчас, не будем.— И Люба первой выскочила из дупла, прищурившись, глянула вверх и облегченно вздохнула: — О, небо уже проясняется. Бежим!

— Что за куропатка у тебя?

— Я ее на опушке в зарослях терна увидела, когда она сидела на яичках. И немного приручила. Ой, только бы не затопило ее деток!

Разбрызгивая лужи, мы побежали на опушку. От нас уже откатывались громы, над нами стихал дождь, а под нами разгибались, плакали счастливыми слезами травы и цветы. И пахло земляникой, грибами, разопрелым хмелем и той ржаной свежестью, какую приносят пучки молний только под Петров день. Немало набросал их сегодня Илья и в лес, и за лес, выбивая нечистую силу.

Мы пробежали чью-то загороду, где стояли высокие дуплянки, обошли озерцо красного проса, перепрыгнули через ручей, который стал теперь речкой, и очутились на поросшей терном опушке, за которой уже стояли прибитые ливнем рожь и пшеница.

— Осторожно, Михайлик, тут можно оцарапаться.— Люба, разводя руками цепкие ветки, зашла в терновник. Вот она остановилась, пригнулась к земле и тихонько вскрикнула.

— Что там у тебя?

— Михайлик, посмотри! — Девочка поднялась, протянула ко мне лодочкой сложенные ладони. На них беспомощным серым комочком лежал птенчик величиной с грец-

кий орех. Он даже не мог встать на ноги.— И что мне делать с тобой? — причитала Люба.

Но птенчик не шевельнулся.

— Замерз, ослабел,— сказала Люба и осторожно положила свою находку за пазуху.— Вот еще!

Я тоже нагнулся к траве и увидел около какой-то трухлявины грязного, с подвернутой головкой второго птенчика. В руке он и не пискнул, только жалостливо глянул на меня затуманенным глазком.

— А где ж куропатка? Почему она бросила их? — спросил я Любу, которая и моего птенчика положила за пазуху.

— Кто знает? Может, гром напугал и разогнал ее деток, а теперь она собирает их. А может, худшее что стряслось. Мало ли врагов у птицы? Подождем ее.

— А если она не придет?

— Заберем деток, и я присмотрю за ними сама.— К чему-то прислушиваясь, она неожиданно улыбнулась.— Они уже царапают меня ножками. Вот глупенькие!

Мы обшарили весь терновник и нашли семь птенцов. Люба всех их упрятала за пазуху, а сама неспокойно озиралась по сторонам, ища мать-куропатку.

Уже совсем прояснилось, умытое солнце перебросило свои золотые косы на поля, и они дымились душистым паром. Птенчики согрелись и, попискивая, возились у Любы за пазухой.

— На волю просятся. Что мне делать с вами? — Но вот девочка вытянула шею, замерла, к чему-то прислушиваясь. Я тоже затаил дыхание. Неподалеку раздался неспокойный птичий зов, потом у куста волчьей ягоды появилась куропатка. Ее мокрые крылья чертили землю, а около нее возились несколько пташек. Вдруг куропатка тревожно остановилась, повела головой, а крыльями придержала деток. Птица заметила человека.

— Красавица моя,— тихо сказала Люба, полезла рукой за пазуху и выпустила на землю птенчика.

Куропатка что-то вскрикнула на своем птичьем языке, ступила шаг к своему дитяти, а оно, растопырив крылышки, так спешило к матери, что падало и зарывалось носиком в траву. Люба выпустила всех птенцов, с жалостью и нежностью поглядела на них и шепнула мне:

— Пойдем, Михайлик, не будем пугать куропаточку и ее деток. Пусть будут они счастливы.

Мы тихонько-тихонько стали выбираться из зарослей. На душе у меня было такое, будто я не с куропаткой,

а с самим солнцем встретился. И мама обрадуется, что мы помогли бедной пташке.

Мокрые, усталые, но счастливые, мы входим в лес, бредем вдоль ручейка и вдруг в изумлении застываем прямо в бурлящей воде: перед нами, за прогалиной, радуга развесила все свои ленты, и в их отсвете дубрава стала такой красивой, какой она может только присниться. Люба засмеялась:

— Михайлик, пойдем к радуге.

— А чего ж, это нам как раз по дороге,— говорю серьезно, хотя знаю, что до радуги никак не дойти.

— Михайлик, а куда радуга зимой девается?

— Наверно, забирается в какую-нибудь хату на небе и там зимует себе, как твой барсук в земле.

— Ой, держите, а то упаду,— зашаталась Люба от смеха.— Ты долго думал, пока такое сморозил?

— Нет, это я не думавши.

— Оно и видно. Ой, где теперь твоя Обменная?

— Да, верно, забралась куда не надо, это она умеет,— помрачнел я.

— Так скорей бежим к ней. Пакостная она все же, твоя Обменная.

Мы выскочили из ручья, а перед нами всполошенной тенью мелькнула дикая козочка.

Я даже разглядел ее большой испуганный глаз. И в это время бухнул выстрел. Козочка вскрикнула, будто младенец спросонья, замедлила бег и, как надломленная, повалилась на землю.

— Ой, мне страшно! — Люба прижалась к моему плечу.

Я не мог утешить девочку: мне тоже было страшно. А из-за деревьев с еще дымящейся берданкой выскочил взлохмаченный, мокрый дядько Сергей и кинулся к своей добыче. Мы с Любой тоже побежали вперед. То, что мы увидели, сильно поразило нас: темно-бархатный глаз козочки подплывал последней слезой, а из небольшого вымени сочилось молоко и загустевало на траве. Козочка была матерью...

— Что вы, дядько, натворили?! Что вы натворили?!— с болью и гневом выкрикивала Люба.

Дядько Сергей, вытирая мокрым, засаленным рукавом пот со лба, усмехнулся.

— Мясца сладкого раздобыл. Это ж королевский харч! Захочешь свеженького — приходи на ужин к нам, захочется солонины — через месяц загляни. Я не скупой,— расщедрился охотник и сапогом потрогал козочку.

— Мы сейчас же побежим к дядьке Себастьяну!

Дядько Сергей вздрогнул, вытаращил глаза на Любу; на его вывернутых губах набухал гнев.

— Ты что это мелешь?!

— Что слышите! Все расскажем! Пусть знают люди, какой вы!

— Ты сдурела, девка? Своих топить? Да я и тебе и ему покажу дядьку Себастьяна! — Но внезапно глаза его утихомирились, он, сдержав гнев, снова усмехнулся, полез в карман.

— Вот лучше возьми себе рубль на тетради. Их как раз привезли в лавку.

— Не надо мне ваших денег!

— Надо, надо, разве ж я не знаю? — И дядько Сергей насильно втиснул деньги в Любину руку.— Хватит тебе тетрадей на целый год. Это ж рубль!

На лице девочки вспыхнули красные пятна.

— Пусть он провалится, ваш рубль! — Люба отвела руку и швырнула монету в лес.

— Вот бесовская порода! — выругался дядько Сергей и кинулся искать свое черное серебро.

Мы еще раз посмотрели на козочку; в ее глазу угасала последняя росинка солнца, а из вымени еще сочилось молоко.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вечер укрыл жито, в дреме седеет ветряк. На его молчаливых натруженных крыльях застряла тучка; неподалеку печалился перепел:

«Спать пойдем, спать пойдем...»

О, как, наверно, хочется ветряку стряхнуть с себя, с полей дремоту, зачерпнуть крыльями небо, отозваться людскими голосами, зазвенеть набаюканным за лето зерном и пролиться мукою. Да зажатые гормоза и трудное — перед жнивьем — время сковали силу брата ветров, и уже на его крыле успел примоститься ленивый паук. Где ты, погань, будешь завтра-послезавтра, когда люди снова привезут на ветряк зерно и слово?..

Кругом смоченные росой поля. В жите заблудилась дорога, сгорбились вербы над нею, за ними проклевываются звезды. И тишина, тишина вокруг, потому что месяц над степью стережет житний сон.

И мы, как во сне, едем с отцом на свое поле. Роса и колосья пощипывают мои ноги, и батько еле-еле мурлычет

песню, так что и не разберешь, колеса это или голос его поскрипывает, а я все думаю про свой завтрашний день. Каким он будет для меня?

У самого ветряка, раздвигая колосья и синий сон над ними, появилась вся в черном женская фигура, и певучий голос спугнул тишину:

— Добрый вечер вам!

— И тебе вечер добрый, Одарка,— степенно отвечает батько и останавливает Обменную.— Поздненько идешь с поля.

— После чужой работы ходила смотреть на свое жито.— Женщина подходит к самому возу.

— И как оно?

— В долинке еще зеленое.

— А мы свое завтра начнем жать.

«Спать пойдем, спать пойдем...»

— И жнеца молодого взяли с собой? — Вдова смотрит на меня и ласково-ласково улыбается.

— Взяли помощника.

И так славно становится у меня на душе: ведь я уже не какой-то там пастушок, а жнец. И сразу просыпается страх: сумею ли завтра делочко делать? Правда, я не раз для Обменной жал бурьян. А вот рожь смогу ли?

«Спать пойдем, спать пойдем...»

— И серп есть у тебя, дитя? — Вдова наклоняет ко мне большие грустные глаза, около которых преждевременными морщинами легли нехватки и горе.

— Есть, тетечка. Мама подарила мне свой.

— Пусть поможет тебе доля стать хорошим жнецом, и косарем, и пахарем, и сеятелем,— ласково смотрит на меня тетка Одарка и вздыхает, потому что у нее война отобрала и косаря и пахаря.

— Спасибо вам.

«Спать пойдем, спать пойдем...»

— Где ты, перепелка, будешь завтра спать, когда придут жнецы? — Тетка Одарка вздыхает: жаль ей бедную пташку.

— Ты тоже, как перепелка, живешь,— с грустью и сочувствием говорит батько.— Как дети?

— Растут помаленьку. Старшенький уже в школу собирается. Сам где-то букварь добыл, просыпается и засыпает с ним. Пришлось перешить малому батькину одежду.— Вдова поднесла руку к глазам.

— Не плачь, Одарка. Бей лихом об землю, как сапожник голенищем об лавку.

— Я уже, Панас, и не плачу. Так наголосилась за войну, что реж глаз — слезы не добудешь.

— Жизнь!..— печально говорит батько свое любимое слово.

— Вон, послушайте, ветряк плачет. Может, и его какая-то печаль или забота гложет?

Мы притихли и услышали, как тихонько-тихонько жаловались крылья ветряка. Тетка Одарка положила свою зачерствевшую от работы руку мне на голову.

— Ты ж только осторожненько жни: серп не игрушка... Ох, рановато тебе еще орудовать им!

— А вот и не рано. Вот увидите! — защищаюсь я.

Тетка Одарка усмехнулась, поклонилась отцу:

— Будьте здоровы.

— И ты будь здорова, женщина добрая.

«Спать пойдем, спать пойдем...»

— Как распелась,— кивнул головой батько на невидимую птицу, еще какую-то минутку прислушался к шелесту крыльев ветряка и тронул вожжи. Тихо заскрипели колеса, и потревоженная пыль запахла молодым житом.

Миновав хуторок-однохатку, мы очутились на скошенных лугах, где темнели стожки сена. Тут уже песня перепелки оборвалась, ее подхватил коростель. Вот и наш участок, он жмется к речке, за которой начинаются луга соседнего села, того, что в войну было сожжено дотла. За речкой горит огонь, около него видна одинокая фигура ночлежника.

— Слышишь, как запахло кулешом? — говорит отец, спутывая Обменную.— Ты, Михайлик, где хочешь спать — на возу или под стожком?

— Где скажете.

— Я ж тебе, как жнецу, даю выбор.

— Лучше кладите на стожок.

— Чтоб свысока падать, а низко охать? Кто тогда завтра будет жать нам рожь?

— Тогда кладите под стожок.

— Тебе сена надергать?

— Я сам.

— Хозяйственное дитя,— смеется батько, подходит к возу и двумя руками подхватывает меня, уже полусонного.— У тебя и правда ноги как деревяшки.

— Ничего, так скорей и танцором и человеком стану,— повторяю отцовские слова, а он прижимает меня к груди, говорит, что я стал языкастым, и патрушивает на мой чуб смех. Он смеется так же хорошо, как и дедусь,

только из глаз брызжут не слезы, а искры, их в темноте даже видно.

Мы вдвоем надергали сена, расстелили его около стожка, а батько покрыл эту постель киреей, той самой, в которой меня, босого, носил раньше в школу...

Почему я тогда не умел так уважать эту одежду, как теперь, когда на виски выпал вечный снег?..

— Ложись, сын, а то люди всю ночь разберут, нам ничего не останется.

И мне становится смешно: вижу, как люди по охапке, будто сено, разносят ночь по хатам.

— Ложитесь и вы.

— Пойду к огоньку. Посмотрю, кто там душу греет.

— И я с вами.

— Не выспишься, причепа.

— Я только капельку-капельку побуду с вами.

— Ну пойдем.— Батько притянул меня рукой, и мы пошли на огонек, что так заманчиво золотым цветком выхватывался из ночи.

Над нами гудели комары, около нас речушка нет-нет да всхлипывала спросонья, а над всем миром текла звездная мгла. И так хорошо было в ней идти к заманчивому огоньку, к чьей-то загадке или сказке, к чьей-то жизни.

— Э, да это дед Корней! — обрадовался батько, когда человек, услыхав шаги, обернулся к нам.— Добрый вечер, дед Корней!

— Если взял с собой ложку, так, может, будет добрый.

— Я только сына догадался взять.

— Догадливый, ничего не скажешь. Еще б жинку прихватил.— У деда Корнея смеются сразу глаза, брови, губы и длинные усы, к которым подбирается огонь. Вот дед поднимается от костра, снимает, здороваясь, брыль[1] и обнажает седую растрепанную зиму. А на руке у старого дышат стянутые на живую нитку шрамы.

— Как вам, дед, живется?

— Иногда с квасом, порою с водою.— Дед Корней прячет под брыль свою зиму и приветливо смотрит на меня.— Уже имеешь, Панас, помощника?

— Считайте, дождался жнеца.

— Вот как?! — удивился дед Корней. Он ласково касается рукой моего плеча.— Неужели ты, пшеничное, умеешь жать?

[1] Широкополая соломенная шляпа.

— Немного умею,— смущенно отвечаю я, и страх как беспокоюсь за завтрашний день, и побаиваюсь, чтоб отец сегодня насмешливым словом не принизил меня. Но ой, содбадривая, говорит, что сын у него не какой-нибудь там лодырь, и я за это не знаю как благодарен ему.

Дед Корней покачал головой.

— Вот так и проходит наш век: одни учатся жать, а другие разучаются.

Теперь уже батько удивлен:

— Кто же это, дед, разучился жать?

— Да хоть бы и я,— запечалился старый, и печальным стало неулегшееся золото в его глазах.— Уже серп стал для меня тяжелым, выпадает из руки,— и посмотрел на свои стянутые шрамы.

— А что врачи говорят?

— Не дело говорят. Надумали вцепиться в дедову старость. Им бы хотелось на печь упаковать мои лета. А какая же это старость, если мне только семьдесят пять лет? Моя мать до девяноста четырех жала. Мельчает как-то и век и здоровье — все очень нервными делаются, чужой жизни не ценят и замахиваются на нее даже бомбами. А бомба человека лучше не сделает.

— А вы ж сами, дед, бомбы возили,— что-то вспомнив, засмеялся батько.

— Так вот и выдыхаю те бомбы теперь — уже и серп из рук выпадает.

— Дед, вы в самом деле были на войне? — обрадовался я и уже уши развесил, надеясь услышать что-то интересное.

— Та нет, это меня впихнули в войну,— неохотно ответил старый и стал ложкой мешать кулеш.— Пшено уже разомлело.

— Дед, расскажите, как вас впихнули в войну,— жалобно прошу я.

— Нечего рассказывать, нечего и слушать,— насупил дед брови, такие косматые, что на двух дедов хватило бы.— Лучше сбегай, найди на возу миски и ложки в узелке, и подумаем, что делать с кулешом.

— Мы уже вечеряли, дед.

— Беги, беги. Мой кулеш сам Котовский так ел, что за ушами трещало.

— Ой! Неужели сам Котовский ел? — замираю как завороженный.— Так вы его видели?

— Даже фотографию с нас обоих делали.

— Расскажите, дед!

— А что дед тебе наказал? Вижу, и ты неслухом растешь.

Я побежал к возу, около которого спокойно жевали круторогие волы, нашел деревянные миски, ложки, а в глазах стояло, как дед и кулеш ел, и фотографировался с самим Котовским. За что ж так прославился дедусь? Видно, недаром у него рубцы на руке.

А кулеш у деда и правда такой вкусный, что его и Котовский мог подхваливать. Мы хвалили казацкую еду; и старый был очень доволен.

— Дед, а Григорий Иванович тоже деревянной ложкой ел кулеш?

— Деревянной, только немного большей, чем твоя,— заговорщики усмехнулся старый и потянул меня за чуб.— Все, пшеничный, хочется знать!

— Ой, хочется! Эго ж так интересно!

— Расскажите ему, дед, немного про себя, а то он теперь и мне покоя не даст: оно хоть и малое, а уцепится, как репей.— Батько берет казанок и собирается пойти к речке.— Вас же и в газете печатали.

— Это правда. И не одного, а с волами...

— С волами? — подпрыгиваю я.

— С теми самыми, что сейчас около воза туман выдыхают. Вон видишь, сколько надышали?

Правда, около воза и по долине плыл туман. Был бы я меньше, поверил бы, что его надышали волы. И кто только из взрослых не подсменвается над нами! Вот и сейчас. Я уже и надежду потерял, что дед Корней что-то расскажет, но вдруг он, косясь на меня, сам спросил:

— Так что тебе рассказать? Может, сказочку про серого бычка?

— Э, нет, про серого я еще в люльке слыхал.

— Так долго в ней вылеживался? Тогда, может, про деда, про бабу и курочку рябу?

— Лучше расскажите, как воевали.

Дед Корней грустно покачал головой.

— Это только людская молва, что я воевал. Вот сын мой и воевал и в партизанах верховодил. Не было ему покоя, не было и мне. Его ловили, а меня тягали по сборням, по каталажкам. Там под чужими дулами и седина моя созрела. И вот, когда стояли у нас деникинцы, присылает сын ко мне посланца из лесу. Снял тот посланец шапку, выпорол из нее грамоту и подал мне. Просит сын, чтоб я спасал отряд — привез в леса запрятанное оружие.

— А как же его через деникинские посты переправить? — спрашиваю посланца.— Может, с голубями?

А тот, рыжий черт, только усмехается:

— Та нет, на волах.

— На волах? Как?

— У вас, дед, в кладовой стоит гроб?

— Стоит, рожью насыпан.

— Это для чего?

— А чтобы мне рожью и на этом и на том свете пахло.

— Так мы, дед, сложим в гроб оружие и поедем, посвистывая.

У него еще и свист в голове был... И где, думаешь, лежало партизанское оружие? На кладбище, в мраморном склепе нашего пана. Вредный был пан, так ему люди и после смерти покоя не дали. Ночью вынесли мы оружие — бомбы и патроны к винтовкам,— осторожненько сложили в гроб и поехали потихоньку из села. Я иду рядом с волами, а тот рыжий, отчаянная голова, позади меня спину гнет от горя, шапкой глаза вытирает, будто и правда кого-то хоронит. Выехали мы за село, я уже перекреститься хотел, как вдруг налетает конный разъезд.

— Что везешь, дед?!

Стою на дороге, молчу, как-то язык не поворачивается брехать. Оглядываюсь — мой рыжий плачет такими правдивыми слезами, что и разъезд подобрел. Так мы и проехали мимо него. Тогда я спрашиваю посланца:

— Как же ты, бессовестный, так сумел чистые слезы распустить?

— А у меня глаза от природы на мокром месте,— отвечает он и смеется.— Бывало, мать еще не успеет замахнуться на меня, а я как зареву, вся улица сбежится.

— Чего ж ты, плакса, в партизаны пошел?

А он и отвечает:

— Потому что люблю, когда солнце сушит росу, но не люблю, чтоб земля впитывала слезы. Вот так, дед!

Сказал это и сразу стал в моих глазах не болтуном, а человеком.

— Как же тебя звать? — спрашиваю.

— Себастьяном.

— Ой! Это не дядько Себастьян из нашего села?! — даже вскрикнул я.

— Да он же!

— Жизнь...— сказал отец, и, кажется, я впервые понял, как много кроется за этим словом.

— Привезли мы то оружие аккурат в лес. Вот радости было! Поднимали меня партизаны на «ура», и все, что в дедовой торбе было, поели: голодные были страх. Поговорил я с сыном немного, попрощался и снова домой собираюсь.

— Вы ж, тато, гроб этот где-нибудь выкиньте,— говорит мне сын, прощаясь.

— А ты его делал, чтоб я его выкидывал?

— Хоть и не делал, а подумайте, кто вас будет встречать.

— Я его лучше где-нибудь спрячу, чтоб никакой дьявол не нашел.

И поехал потихоньку. Думал, гадал и пожалел бросить гроб. Решил, что въеду в село по другой дороге, и все тут. Подъезжаю, а на меня от крайних изб налетают два конника. Я только успел увидеть, как блеснули сабли, как раскроилось солнце на них, и закрыл голову руками. А что дальше было, уже от людей узнал. Бросили меня, изрубленного, деникинцы в гроб, еще и крышкой накрыли. А гробы сами привезли домой. Я не слыхал, как надо мной голосила старуха, как замотали меня, будто куклу, в полотно, только услыхал через какое-то время, что сошлись ко мне ангелы и начали петь так жалостно, как архиерейский хор в соборе. «Ну, это,— думаю,— неплохо. Значит, в рай душа идет»,— и раскрываю глаза.

А в моей хате и за столом, и на лавках, и на пороге, и на припечке сидит раскрасневшаяся родня и жалостно выводит:

Та забіліли сніги,
Забіліли білі,
Ще й дібровонька,
Та заболіло тіло
Бурлацькеє біле,
Ще й головонька...

— Бессовестные,— говорю им тихо.— Я же думал, что мне ангелы поют, а это вы, трясця вашей матери, уже и напиться на дармовщинку успели!

И думаете, усовестил их? Одна только старуха заплакала, а остальные, как бешеные, начали хохотать, радоваться и даже чарку поднесли с закуской.

— И вы тогда выпили, дед?— засмеялся батько.

— А что было делать? Выпил, но не закусывал и попросил, чтоб вынесли в сад. Положили меня под грушу, накрыли кожухами, и стал я вылеживаться, как пан. До этого не было у меня времени на спанье... И все было б

ничего, если б костоправы лучше руку сложили — выпадает из нее серп, хоть что хочешь делай.

— Дед, а как ваш сын теперь живет?

— Да живет, в Харькове в начальстве ходит, телеграммы деду бьет, а в село редко заглядывает. Вот и недавно написал, чтоб приехал я к нему.

— Поедете?

— Да, наверно, как отсеюсь, поеду. Внук же у меня там, невестка. Людей она лечит, так, может, и мою руку заново перешьет, потому что какой же хлебороб так рано разлучается с серпом? Старуха уже обгоняет — больше меня жнет, еще и хитрит.

— Как же она хитрит? — засмеялся батько.

— Знает мою гордость, так украдкой свои снопы на мою половину подкидывает. Разве ж это дело? — Старый поворошил поседевший костер.

Посыпались искры. Их стало много-много — и в глазах, и около дедова воза, и по всей долинке, а небо почему-то приблизилось к земле. Потом кто-то подхватил меня на руки и стал качать, как в люльке, и передо мной явились волы деда Корнея, они напускали на долину туман, а в нем кричал перепел: «Спать пойдем, спать пойдем...»

Солнце еще только-только подняло свой венец, еще сизо и сине туманились росы, когда меня разбудил батько.

— Умывайся, Михайлик, да поедем жать.

— Я сейчас. А где же дед Корней?

— Он уже, верно, первый сноп связал.

— Чего ж вы меня раньше не разбудили? Я б ему спасибо сказал.

Батько грустно усмехнулся.

— Жалко было, сынок, будить. Кто же тебя потом, когда откатишься от нас, пожалеет в целом свете?

— Ой, тато...

— Беги, беги, умывайся. Мама уже, верно, на поле дожидается.

Мы приехали на свою полосу чуть позднее матери. Она с узелком в руке, с серпами на плече уже стояла около жита и высматривала нас.

— Хорошие у меня жнецы, нечего сказать! — будто с укором покачала она головой, сняла серпы с плеча, развернула узелок.— Бери, Михайлик, свое.

И радость и страх снова охватывают меня.

— Погляди на восход солнца и начинай на счастье.

Вот я набираю полные глаза солнца, сгибаюсь, беру первую горсть жита, на котором еще спят пупырышки колосков, шарх серпом — и кладу на землю.

— Больше, больше нагибай стебли, чтоб не порезать-ся,— говорит сзади батько, который уже успел слутать Обменную.

Я так и делаю, как советует отец, а от волнения мелю в жар кидает.

— Вот и дождались жнеца себе,— подхваливает меня мать и сама припадает к росистой ниве.

Ее похвала подбадривает меня, я свободней начинаю орудовать серпом. Уже пот орошает лоб, я вытираю его рукавом, одну секунду любуюсь голубыми косариками, что прилепились у самой земли, и снова за работу.

— Эге, да тебя, гляди, и конем не догонишь! — отзывается батько.— Не спеши так, день сегодня большой. Вот поди сюда.

Разгибаю спину, солнце бьет в глаза, а отец с матерью смотрят на меня, улыбаются, и я не знаю, любуются ли они мной или подсмеиваются.

— А ну, складывай, что нажал,— говорит отец,— да хорошенько ровняй.— Нажатое мной он опоясывает перевяслом, достает из-за пояса колышек, связывает сноп и ставит его комлем на стерню.— Вот, Михайлик, твой первый сноп, твой первый хлеб,— еще и рукой проводит по стеблям снопа.— Запомнишь его?

— Как же его запомнить?

— А ты за перевясло косарики или цветок цикория засунь. Чтоб мы могли твой сноп на свят-вечер в углу поставить.

— Ну? — Не знаю, что сказать, потому что страх как боюсь, не смеется ли отец. И все равно, так хорошо мне смотреть на свой сноп, будто он из самого золота вылит.

За этим снопом пошли другие, и, когда их стало девять, пот совсем залил меня, а в поясницу просочился огонь. Оно б и отдохнуть не помешало, но стыдно ведь. И в это время ко мне обратился отец:

— Михайлик, не сбегаешь ли к роднику по воду?

— По воду? — сначала обрадовался я, а потом удивился, потому что минуту назад было полкувшина воды.— Разве ж выпили всю?

— Да она нагрелась, и я вылил ее. Принеси свежей-кой, и не с дороги, а с долинки.

— Так это же далеко!

— Зато вода вкусная.

Я беру из отцовских рук обливной кувшин, по стерням выхожу на дорогу, а потом по ржи и пшенице, по овсу бегу в долинку, где так заманчиво млеют на солнце кудрявые вербы и тихонько попискивает под ногами влажная земля. И так мне хочется кого-нибудь встретить, рассказать, что я уже не какой-то там пастушок, а жнец. Но кругом ни души, все на жатве в поле: сегодняшний день кормит год. И некому похвалиться, ведь не станешь чтонибудь говорить тому пучеглазому лягушонку, который растопырился на воде и собирает на широкие губы презрение ко всему, что не держится воды. И почему бы это не прийти кому-нибудь сюда, не спросить, как я живу и что делаю теперь?..

Я ложусь на землю около родничка, набираю полный кувшин воды, ставлю его в траву, а сам приглядываюсь к небу, к воде, к павлиньим глазкам, что зацвели в ручье, и думаю: случайно или неспроста послал меня отец в долинку? Скорее всего пожалел малого. Поэтому не буду задерживаться тут.

А подо мной земля такая свежая, такая мягкая, как люлька, и небо надо мной такое синее, такое ласковое, а за вербами притаилась дремота и шепчет: «Усни, усни...» Может, это вода бормочет колыбельную? Э, не будет по-твоему! Я встаю, прихватываю от земли немного прохлады, прижимаю к груди кувшин и степенно иду делочко делать. А в долинке и на дорожке снова ни души, только рожь покрывает меня с головой, только солнце сквозь ржаную дрему купает меня в лучах и тенях.

И славно-славно идти мне меж ржаных колосков к своей ржи. Что ни говорите, а уже по-другому чувствуешь себя, когда становишься жнецом!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лето промелькнуло, как день, а из легкого тумана вышел синеокий, с золотым чубом сентябрь. Он прицепил к своему брылю красную гроздь калины и нитку бабьего лета, заглянул в нашу школу, ударил в колокол и пошел меж садами в степи крутить крылья ветряков.

Я с нетерпением ждал, когда сентябрь спугнет этим звоном, что пробивается даже на хутора, утренний сон или дрему. И вот над хатами торжественно, густо зазвенела медь, согнала ворон с позолоченных церковных крестов и всюду-всюду порадовала босоногих школяров.

Нет, это не звон, а мои надежды беспокойно зачастились надо мной и во мне, они ласково подхватывают малого со двора на лебединые крылья и несут через дубравы, села, реки к тому сказочному городу, где сколько хочешь читай книжек и выучивайся хоть на учителя.

И сразу все как-то похорошело вокруг: и ясени с голубоватыми тенями и зеленым шумом, и сгорбленная клуня с четырьмя ветрами, и скрипучие ворота — от них пойдет к чему-то славному моя дорога, и маковки, что звенят и звенят на огороде, и даже ленивые тыквы, которые понадевали разноцветные сорочки и лежа хвастаются ими.

А по улице уже идет дядько Микола и спрашивает, сплю я на ние или дремлю. Я показываю ему зубы и говорю, что не сплю и не дремлю. А он допытывается, почему это я такой. А я отвечаю: «Какой есть, такой и есть». Так после этого ему понадобилось узнать, каким я буду. Но я этого не знаю, и дядько Микола говорит, что в такое время надо смотреть вперед. Вот я и смотрю вперед, как солнышко откатывается от земли, и спрашиваю, почему дядько Микола не покупает лошадок.

— Никак не могу в самехонькую точку подобрать масть.

А я знаю, что не в масти дело, просто в дядькином кармане еще не насвистелся ветер, и хохочу, а дядько знает, чего мне смешно, и тоже усмехается. А над нами гудит колокольный звон, и еще выше летят аисты, а около нас шелестят ясени и маковки, а под ногами солнце дергает за вожжи тени. И все это называется сентябрь, первый день школы.

Вдоволь наговорившись с дядькой, сломя голову лечу в хату. В клуне я чуть не поздоровался со столбом и разгоряченный остановился на пороге, потому что дорогу как раз перегородила мамина кочерга.

— Что? Где-то горит? — спрашивает мать.

— Колокол! — отвечаю одним словом и озабоченно хватаю свое школьное добро, что уже лежит на подоконнике.

Мать ставит в угол кочергу, смотрит на меня с улыбкой и вздыхает:

— Вот и дождались праздника.

— А вы думаете! — отвечаю гордо и складываю в полотняную торбу книжки, тетради, линейку, коробку от спичек, в которой лежат перья, а к шее привязываю веревочку с карандашом на конце. В те времена хороший ка-

рандаш, который не крошился, был целым кладом, его ценили и берегли.

— Ну я пошел.

— Цветы ж возьми учительнице,— подходит мать к столу, на котором лежат, истекая росой, чернобривцы, гвоздики, астры и майораны.

Я колеблюсь, брать или нет, потому что у нас в школу приносят цветы только девчата. Это их, а не мальчишечье дело! И в то же время ужас как хочется чем-то порадовать свою учительницу. Вот возьму букет и неожиданно подам ей из-за спины.

В хату входит отец, он так оглядывает меня, словно я с луны свалился, еще и просит повернуться разок-другой.

— Это ж для чего вам? — приглядываюсь к тому отцовскому глазу, что больше всего собирает смешинок.

— Пригодится,— говорит отец.— Хочу наглядеться на тебя.

— Давно не видали? — смеюсь я, раскачиваюсь, а на шее болтается карандаш.

Батько подходит к сундуку и достает оттуда приплюснутую, похожую на полкоржа шапочку, которую он раздобыл где-то в херсонских степях.

— Вот тебе подарок, сын.

С подозрением и любопытством разглядываю я эту васильковую из всамделишного сукна шапочку и спрашиваю:

— А что оно такое и для чего?

— Это, считай, австрийский картуз, от войны остался. Очень хорошее сукно.

— Не хочу я австрийского картуза, хоть он из хорошего сукна.

— А в чем же пойдешь в школу? В шапке рано, фуражка сносилась, а брыль продырявился.

— Бедному Савке нет доли ни на печи, ни на лавке,— говорю, не очень горюя, что нечем голову прикрыть, потому что до зимы еще далеко. И вдруг в моей макитре зародилась счастливая мысль: упакую букет в австрийскую штукенцию и незаметно вручу его учительнице.

— Пусть будет по-вашему!

Батько натягивает мне на голову шапочку из настоящего, пропахшего сундуком сукна, сбивает ее набекрень, немного отходит и подхваливает:

— И вырос хлопец за лето порядочно, и пос в этом году не облазит. Красивый, красивый, жаль только, что чуб потемнел.

— Потемнел? И навсегда?
— Считай, навсегда.
— И уже меня больше не будут звать пшеничным? — разочарованно спрашиваю, потому что очень люблю слышать это прозвище и от своих и от чужих.
— Наверно, не будут.
И так мне жаль, что отходит куда-то от меня что-то хорошее; это омрачает радость такого славного дня.
— Ну, я пошел,— говорю со вздохом.
Родители переглянулись, отец положил руку мне на плечо.
— Иди, сынок, в добрый час, учи ту науку, потому что мы не могли.— Теперь уже он вздохнул.
— Вы, тато, не горюйте,— подбадриваю его.— Вы же читать во как умеете!
— Да научился, как же, ходил в школу до первого снега.

За воротами синее-синее небо и звон под ним сразу же разогнали мою печаль. Прислонившись спиной к воротам, я отогнул края австрийской шапочки, сделал из нее торбочку, осторожно вложил туда цветы и вприпрыжку побежал в школу. Около поповского сада неожиданно встретил нашу учительницу. Вот и она заметила меня, и ласковая усмешка обметала ее губы и все молодые морщинки вокруг глаз.
— Доброе утро, Настя Васильевна!
— Доброе утро, Михайлик. Как ты вырос за лето!— удивляется и разглядывает меня учительница.— Будто кто-то тянул тебя за уши.
— А чего ж!— не знаю, что сказать, а в душе радуюсь, что подрос. Жаль только, что голос никак не хочет грубеть. А пора бы!— И вот, нате вам,— стесняясь, вынимаю цветы из шапочки и протягиваю учительнице.
— Вот никак не думала, что ты можешь принести мне подарок,— смеется Настя Васильевна.— Спасибо, Михайлик.
— Я еще могу вам принести.
— Как отец с матерью?
— Живы.
— Что они делают?
— Отец собирается рожь сеять, а мать — выбирать коноплю.
— А ты помогал им летом?
— Конечно. И сено подгребал, и рожь жал.

— Ты жал рожь? — расширились от удивления выразительные темно-серые глаза учительницы.

— А чего ж! Наше крестьянское дело такое...— И осекся, потому что, наверно, перехвалил себя.

— И снопы вязать научился?

— Яровое могу, а озимое еще не хватает силы,— говорю с сожалением.

Но это не принижает меня в глазах учительницы.

— Молодчина, молодчина! А читал что-нибудь летом?

— Немного.— И от одного воспоминания погрустнел мой взор.

— Что-нибудь страшное попалось? — сразу угадала учительница.

— Страшное. Как печенеги разрубили в степи Святослава и стали пить вино из его черепа.

— А сколько теперь новые печенеги разбросали в степях черепов! — тоже загрустила учительница.— Беги, Михайлик.

Около школы уже шумно и весело. Пропеченные за лето школьники гудят, как кувшины на ветру, хлопают друг друга ладонями по рукам и плечам, допытываются, чей батько сапожник, чтоб влепить «подножник», меряются силой. Смех перелетает от одной кучки ребят к другой и обрывается у ограды, где кончается игра в «длинную лозу». Девочки, образовав круг, уже поют «Подоляночку», а неподалеку от них Петро Шевчик, сам пугаясь, рассказывает, как ведьма повадилась к корове тетки Софии. Чернобрового хорошенького Петрика очень любят девчата, а он их всегда пугает разными небылицами. А вон прямо на земле примостился хитрец Цыбуля, он играет в чет и нечет и всех подряд обыгрывает.

А за всем этим весельем внимательно наблюдает стоящий под большим колоколом седой остроглазый сторож, который умеет разминать телячью шкуру и наши уши.

В одной руке он держит медные, натертые до блеска часы, а другую вплел в веревку от колокола.

Я не спеша вхожу на школьный двор, а сзади на мои плечи вскакивает Иван Пампушка, он хочет на дармовщинку проехаться до школы и, как оглашенный, кричит мне в самое ухо:

— Здоров, читальщик! Сколько возьмешь за перевоз?

— Две копейки без копейки и копейку сдачи,— отвечаю школьной поговоркой, сгибаюсь, Иван вниз головой летит на землю и хватает меня за ноги. Мы катимся клубком, нас окружают веселой гурьбой, и всем очень

хорошо. Когда я встаю на ноги, в мою шапочку пре
тельно тычет пальцем въедливый Ульян.

— А что это у тебя?

— Австрийский картуз из настоящего сукна,— говор
не моргнув глазом.

Ульян отгибает края шапочки, принюхивается к ней
и под смех школьников говорит, что из этой австрийской
торбы хорошо было б кормить коня.

— Я и кормлю из нее Обменную,— говорю, чтоб отве
ти насмешку.

— Брешешь! — отрезал Ульян.

— Вот посмотри, и сегодня кормил! — показываю дес
шапки, где лежат несколько листочков и лепестков.

— Правда! — не верит Ульян, но уже не знает, как
полкусить меня.

Вдруг около школьной ограды появляется верхом на
коне дядько Себастьян, перед ним на седле лежит довольно большой ящик. Вот председатель соскочил с коня и понес ящик в школу. Я выбегаю навстречу дядьке Себастьяну, кланяюсь и спрашиваю:

— И вы к нам?

— И я к вам, Михайлик.

— Может, учиться?

— А что ты думаешь, с большой охотой сел бы за парту. Поздравляю тебя с первым днем ученья!

— Спасибо. А что вы несете?

— Гляди! — Дядько Себастьян поставил на землю разделенный на две половины ящик, и в нем сразу ослепительно засияло целое богатство: одна половина набита душистыми, как конфеты, карандашами, а другая — школьными ручками. Я никогда не видел так много этого добра и просто растерялся.

— Что, Михайлик,— весело подмигнул мне дядько Себастьян: ему и самому приятно было смотреть на это богатство.

— Где ж вы достали столько?

— В Виннице.

— А что ж будете делать с этим добром?

— Отдам учителям, а они раздадут вам.

— Это, выходит, нам подарок? — радуюсь я.

— Подарок от комбеда. Мы не учились, так учитесь вы, в люди выходите! — И вдруг дядько Себастьян хмурит бровь, под которой только что высвечивало веселье, и пальцем трогает веревочку на моей шее.

— А это, бурсак, что за новинка у тебя?

— Какая ж новинка? Все школьники носят на шее ка-рандаши, ну и я привязываю.

— Бедность наша привязывает! — гневается на кого-то дядько Себастьян, разрывает веревочку и освобождает мою шею и карандаш.— Слышишь, Михайлик, ничто не должно гнуть человека, унижать, висеть у него на шее: ни ярмо, ни цепь, ни крест, ни даже карандаш! Понял?

Я тогда не очень понимал, почему дядьку Себастьяна так взволновала веревочка на моей шее, но кивнул головой. А председатель комбеда достал из кармана пиджака сначала какую-то книжку, потом карандаш, тоже пахнувший конфетами, и протянул мне:

— Вот тебе от меня.

— Может, и не надо? — заколебался я.

— Почему ж не надо? Пиши на здоровье.

Я засмеялся.

— Ты чего это подхихикиваешь? — Под бровь дядьки Себастьяна снова вернулась веселая хитринка.

— Чего? Я слыхал: пейте, сшьте на здоровье, а вот чтоб писать на здоровье, такого не слыхал.

— Еще услышишь, время у тебя есть. Паскудники всякие своей писаниной, бывает, не только здоровье, но и жизнь у людей отнимают. А нам надо писать только людям на здоровье.

— Дядько Себастьян, а что это за книжка у вас?

— Политграмота.

— Политграмота? Это про что?

— Как тебе сказать? — собрал он на высоком челе с полдесятка морщинок.— Вот космография — наука про то, что делается на небе, а политграмота — что надо делать на земле. Возьми себе на день, может, что вычитаешь.— Дядько Себастьян дал мне книжку, подхватил ящик со школьным добром и пошел к учителям.

Меня сразу же обступили школьники, разглядывали и карандаш и новую книгу.

— Везет же некоторым,— с завистью говорит Ульян и так же, как недавно в шапочку, тычет пальцем в книгу: — И что оно за штука — политграмота? Не знаешь? Где тебе!

— Почему ж не знаю? — отвечаю вопросом на вопрос и отчаянно пускаюсь вплавь: — Есть две самых высоких науки — космография и политграмота...

— Это почему ж они самые высокие?

— А ты подумай своей головой: просто «грамота» — это обыкновенная грамота, а тут впереди стоит «поэзия», поэтому она и есть самая высокая наука.

Такое объяснение вполне устраивает и Ульяна, и моих и школьников. И чтоб совсем не завраться, я быстро вбегаю в школу, и тут меня в коридоре встречает сияющая Люба.

— Михайлик, это ты?! — удивляются и почему-то так радуются ее карие глаза, что и мои начинают усмехаться зать ей.

— И ты уже пришла в школу? — Не знаю, что сказ-

— Я первая пришла! — И поворачивается так, чтоб хорошо были видны ее сережки, что свернулись и дремлют на темных мочках.— Все боялась, чтоб не опоздать.

— А может, ты хотела поскорей сережки показать?

— Бессовестный! — Оттопыривает узелком розовые губы, но тут же перестает сердиться и таинственно говорит: — Я тебе что-то принесла. Знаешь, что?

— Откуда ж мне знать?

По коридору пробегает Цыбуля, он нахально останавливается около нас, бесцеремонно заглядывает мне и Любе в глаза и многозначительно говорит:

— Ги.

— Ты чего? — сразу настораживаюсь я.

— Потому что знаю что-то.— Хитро смотрит на меня и на Любу.— Вот расскажу всем хлопцам...

— Что ж ты, ча́полоть болотная, расскажешь?— оскорбленно зазвенел Любин голос, и испуг задрожал в ее глазах.— Что?

Цыбуля удовлетворенно засмеялся и показал нам язык.

— Что захочу, то и расскажу. Рано еще кое-кому засматриваться друг на друга.

Обида и гнев сорвали меня с места. Я изо всех сил хватаю болтуна за грудки и даже удивляюсь, что он, здоровенный, затрясся в моих руках; из карманов у него посыпалось выигранное добро: желудн, стреляные гильзы, старые перья, огрызки карандашей и оловянные пломбы. Это, наверно, и спасло нас от драки в первый день учебы.

— Пусти! — вдруг заскулил Цыбуля.— Вот раздавишь перо.

— А наговаривать будешь?

---

[1] Игра слов: політ *(укр.)* — полет.

— Н-не буду! Очень вы мне нужны. Уж и пошутить нельзя?

Я выпускаю Цыбулю, он быстро подбирает свое добро и снова бежит во двор. Не будет ли он там разводить брехни?

Люба с презрением поглядела ему вслед и доверчиво сказала:

— Ты, Михайлик, не горюй. Что от этого заводилы можно ждать? Побудь тут немножко, я сейчас! — Она летит в свой класс и тут же возвращается, пряча что-то за спиной.— Догадался, что у меня?

— Нет.

— Смотри! — И Люба протягивает мне несколько тетрадей в цветных обложках.— Это твои.

— Почему ж они мои?

— А кто рвал липовый цвет?

— Ну, это я тебе так помогал. Да и сколько там я нарвал!

— Как раз на эти тетрадки хватило. Я хочу, чтоб все было по-честному.

Я колеблюсь, но тетрадки беру.

— Тогда спасибо.

— Пиши на здоровье,— точнехонько, как дядько Себастьян, говорит Люба: может, она слыхала от него это?

— Так ты заработала серебряный рубль?

— Все-таки заработала. Михайлик, а завтра после школы пойдем по грибы? Я нашла такое место — одни боровики, и тугие, как камушки. Моя мама насушила несколько ниток. Пойдем?.. Или теперь тебе уже неудобно?

— Что ж, пойдем.

— Вот и хорошо! Чего нам бояться пустобреха?..

В это время зазвонил колокол уже на урок. Мы бросились к своим классам, которые гудели, как ветряки.

И вот на пороге встает наша учительница. У нее такая хорошая улыбка, каждому кажется, что она улыбается ему. А слова ее и до сих пор — через сорок лет! — я отчетливо слышу:

— Дети, вы подросли на солнышке и дождях, а теперь будете расти за книжками, потому что много-много очень интересного надо вам узнать...

На следующее утро я рублю маме дрова и слышу — ворота наши скрип да скрип, скрип да скрип.

Оглядываюсь, а на воротах стоит Люба в праздничной одежде, раскачивается и улыбается мне.

— Ты чего это раскачалась? — Вгоняю топор в колоду и иду к воротам.

— На ваших воротах хорошо раскачиваться: они скрипят в несколько голосов, а у наших только два голоса.

— Интересно! — Сколько я слышал скрип наших ворот, а никогда и не подумалось, что у них несколько голосов.— Ты и сегодня первой в школу идешь?

— Я сегодня, Михайлик, в школу не иду,— говорит она таинственно, а глаза прямо светятся.— И по грибы мы сегодня не пойдем.

— Это почему ж?

— Потому что вчера к тетке Василине приехал главный над певцами, и он нас на несколько дней забирает в Винницу.

— И ты едешь?

— Еду, Михайлик. Я там настоящий театр и трамваи увижу. Вот прибежала попрощаться с тобой. Уже повозка на дороге ждет меня.

— Ты ж скорей приезжай.

— Это уже как главный над певцами скажет. Так хочется увидеть город! Там, говорят, ни в одной хате коптилки нет: только электрика светит. Прощай, Михайлик!

И она, покачиваясь, будто камышинка, пошла навстречу своей доле, потому что настало такое время...

ГЛАВА ПЯТАЯ

День теперь куцый, как заячий хвост. Но мне все равно так хорошо, что и сказать не могу, особенно когда выскользнешь из хаты — и на лед. Вот где свобода и раздолье — до самых звезд! Веселей становится даже, когда вспомнишь, как под тобой гудит и посвистывает лед; ну, а как потом гудят ноги, когда уже плетешься домой, лучше не вспоминать.

Мать говорит, что, когда я собираюсь на речку, из глаз у меня сыплются искры.

— Ну да! — не верю я.

— Посмотри в зеркало.

И хоть я знаю, что мать говорит несусветное, все-таки весело ковыляю к стене, где вмазан толстый осколок того самого зеркала, что было до революции у панов, и в нем вижу только свои смеющиеся глаза, нос и кончик языка, которому почему-то тесно за зубами.

— Так сыплются искры?

— Еще и как! — отвечаю со смехом и старательно отряхиваю свитку, чтоб она, чего доброго, не загорелась. Тут и у матери губы дрожат от смеха, а я говорю, чтоб она не беспокоилась обо мне, шапку на голову и за щеколду, еще и пальцем вызваниваю на ней: «ключ — клямка, ключ — клямка»!

— Только ж не ходи, как рак за дрожжами,— предостерегает мать.— А то и звезд и месяца дождешься на той речке.

— А мне и с месяцем хорошо! Он такие дорожки настилает по льду! — Я уже вижу и дорожки и тени верб на них, что вытуманиваются из прозрачного льда.

— Помни, за те дорожки от батька попадет!

— Помню-помню! — Беззаботно выскакиваю в клуню, колесом по току да на двор и сразу же оказываюсь в самой середине дня.

А как это славно, когда ты знаешь, что стоишь точнехонько посередине дня! Тогда все кажется лучшим, и сам ты будто больше значишь. А есть же такие, что до сих пор и не знают этого, и меньше радости у них от света...

Голубой с изморозью цвет бьет мне в глаза, и они не знают, что им делать: засмеяться или сбросить несколько слезинок. От этого или от какой другой радости я сдвинул шапку набекрень, крутнулся юлой на месте, ударил каблуками гопай-чоса, еще и запел:

Вербовая дощечка, дощечка,
Там ходила Настечка, Настечка.

Песня сразу приблизила ко мне весну, и прудок с вербовой дощечкой, и Настечку над водой, и звезды в воде — все то, в чем я живу.

— Так-так-так,— бодро отозвалась на песню утка с перебитым крылом и топ-топ, ожидая от меня поживы или ласки. А еще она очень любит, чтобы с ней говорили про жизнь. И что б ты ни сказал, она будет поддакивать и притираться к тебе здоровым крылом.

Жаль только, что утка уже начала стареть, и не всякая еда идет ей на пользу. Тут вот под осень сглотнула большого жука, и он застрял, не дойдя до зоба. Утка болезненно встрепенулась, как-то безнадежно потянулась вверх и свалилась на спину. А под перьями шеи было видно, как там упрямо копошился жук. Потом она, шатаясь, поднялась, грустным оком поглядела на свет, пристыженно

забилась в уголок, и в тот день не слышно было ее бодрого таканья...

Я смотрю на птицу и спрашиваю ее:

— Правда, сегодня хороший день? Так или не так? — поднимает вверх потрескавшийся от старости клюв.

После этого разговора даже Обменной становится весело. Мотнув головой, она ощеривает зубы и говорит: ги-ги-ги!

— Ги-ги-ги,— откликается на третьем дворе ее младшая подруга, которая только-только разжилась на звездолобого, с совсем голубыми глазами жеребенка.

А вот из-за сарая выскакивает, как бешеный, блохотрус Рябко и с разгона бросает передние лапы на мои плечи. Я кулаком даю ему «бокса», он отвечает головой и лапами, и мы тут же летим — сторож сверху, хозяин внизу. Рябко от этого получает больше удовольствия, чем я: он повизгивает да еще лезет целоваться, а я лишь обороняюсь от него и никак не могу вывернуться наверх: ухвачусь за снег — мягкий, схвачусь за Рябка — выскальзывает.

— Ой, некому, некому бить этого непутевого! — слышу знакомый въедливый голос, и он меня вмиг ставит на ноги.

Посреди улицы с кужелем [1] в руках остановилась тетка Марийка, жена дядьки Владимира. Про эту скупую пару говорят: «обое — рябое». По-старосветски повязанная накрест двумя платками, тетка сейчас немного похожа на рыцаря в шлеме, она и кужель держит, как воин копье. Налюбовавшись мной, она подходит к воротам и укоризненно качает головой.

— Ну, так скажи, может из тебя после этого выйти такой-сякой хозяин?

— А почему нет? — отряхивая снег и собачью шерсть, удивляюсь я и не очень приветливо смотрю на хитренькую и задиристую тетеньку, которая никогда не проспит ни своей, ни чужой грушки в золе, а бедняков, в том числе и нас, называет голодранцами, злыднями и комзлыднями. Меня, после того как я поймал зайчонка, она долго звала зайчепасом. Это ж надо выцарапать такое въедливое слово!

— Разве хозяин станет вот так глумиться над своей одеждой, валять ее в снегу.

— Эге, тетечка! А разве вы не знаете, что снег придает одежде чистоту и приятный блеск? — вспоминаю вычитанное в каком-то старом журнале.

---

[1] Деревянный стержень для пряжи льна или конопли.

— Что-что? — сначала удивляется тетка Марийка, смотрит на свой выношенный, давно потерявший блеск сачок, а потом пренебрежительно оттопыривает мягкие, с шафранистой окантовкой губы.— Что в том блеске, когда главное — крепость. Вот как нужно думать хозяину! — Победителем глядит на меня, и из ее хитрых глазок вот-вот закапает масло.

— Так или не так, не скажу: чего не знаю, того не знаю.— Я хочу испариться, но болтливой тетечке, у которой, говорят, язык не отдыхает и во сне, обязательно хочется чем-нибудь зацепить малого.

— Значит, не знаешь? Так-так. И какой же после этого выйдет из тебя хозяин? И что ты знаешь, кроме писать-читать? — Она твердо стоит на том, что наука бедных — это чужая скотина и свой кнут.

— Эге, чего только я не знаю! — Сразу становлюсь важным, прикидываю, что тут меня голыми руками не возьмешь.

— Скажи, скажи, причудник, может, мы что и узнаем про своих соседей.

— Ну вот, считайте! — Загибаю большой палец на руке.— Читать умею, писать — тоже, копать, окучивать научился, рубить-колоть дрова — тоже, бороновать, за плугом ходить, молоть на жерновах, толочь в ступе знаю и политграмоту — тоже. А на большее не хватает пальцев.

Но не мои чернилами измазанные пальцы, а именно политграмота доконала тетку Марийку.

— А что оно такое — политграмота? — спросила растерянно, все морщинки на ее лице утихомирились, пожухли, а из глаз будто вытекло веселое масло.

— Э, про это долго говорить, а у меня сейчас нет времени! — Победоносно стал на подножку перелаза, выскочил со двора и припустился по снегу, не разбирая тропки, на другую улицу. Запыхавшийся, я остановился посреди бело-розово-голубого дня, с которым солнце как раз играло в жмурки: зырк на него — и за тучку, и снова зырк — ага, не нашел меня! Стук-стук-стук!..

Эге, так это ж не солнце стучит, а дятел в красной шапочке! Он, работяга, вцепился ножками в нашу старую грушу и так выбивает дробь, словно приглашает всю улицу на танец. Груша прислушивается к птичьей музыке и осыпает на землю, на дятла и на его шапочку мохнатую изморозь.

А знаете ли вы, что наша груша не просто себе груша, а кусочек истории? Так решили в школе все учителя, а их

теперь у нас не один, как прежде, а четыре. Двое из них даже в газете печатаются; тот, что подписывается прадедовской фамилией, пишет весело, а тот, что под своей,— только печально. Но это не помешало им обратить внимание на нашу грушу. И теперь я тоже другими глазами смотрю на нее, на ее цвет и плоды, и даже люблю иногда прижаться к ее шероховатой коре, чтоб слышать, как ворошится под нею сок, и недавнее прошлое стоит у меня перед глазами...

Разве можно забыть, как за селом, в розовой гречихе, в горячих подсолнухах, в красной пшенице схватились насмерть две силы — смерть и жизнь!.. Тут в предсмертных судорогах кусок старого мира встретился с красным казачеством. Над клубками коней и человеческих тел свистели сабли, ломались копья, плакали, как люди, покалеченные кони, стонали и звали матерей раненые.

От горячих подсолнухов, розовых гречих и красной пшеницы бой перекинулся в село, корчами человеческих тел растекался по улицам и улочкам. И тут, у плетней, у белых хаток, ульев и вишняков, пошатнувшись, падала, вставала и снова падала Антанта.

Около нашей груши припали к пулемету два красных воина, сыпанули огнем по забитой чужими мундирами улице, и она, расползаясь, ответила им огнем. Пули, к счастью, минули красных казаков, их приняла на себя наша груша...

Я не раз приглядывался к ее ободранному, свинцом начиненному стволу. И не раз я встречался с казаками, красивыми, упорными, веселыми. Они приголубили мое детство, под их флагом, замирая от радости, я когда-то выехал за село... И всю жизнь я ощущаю над собой бессмертное крыло красного знамени.

И, наверное, до последнего вздоха в глазах у меня будет стоять тот растревоженный голубой свет, в сиянии которого пролетели на конях красные казаки, пролетели, будто из легенды, и вошли в легенду.

Я до сих пор помню, как в родных моих Дьяковцах плакали после боя осиротевшие кони: они раньше чуяли смерть и раньше оплакивали убитых, чем матери и жены...

И пусть мою и детскую и вечную любовь примут те рыцари революции, которые саблями добывали новый свет, чтобы мы стояли посреди дня!

И да простят мне иные скептики пристрастие к коням — так уж сложилось мое детство: на их слезы отвечали мои детские слезы...

Вдруг в мои воспоминания врывается переливчатый звон кучерского бубенчика. Я оглядываюсь и верю и не верю своим глазам: по улице, выгнув шеи, мчат ветроногие лошадята, изморозь набросила на них мохнатые покрывала, а за ними на крылатых санках, вцепившись в вожжи, стоит раскрасневшийся и гордый дядько Микола. Шапка у него, как у парубка, сбита на ухо, кожух нараспашку, ветер рвет его назад, усищи развеваются на все стороны, то открывая, то прикрывая дядькину усмешку. Сзади него, скрючившись, как скорбная тень, сидит тетка Лукерья, а за нею весело подпрыгивает мячом мой ровесник Иван.

Значит, в дядькином кошельке уже насвистелся ветер, и дядько скопил на лошадок. Я высоко поднимаю свою заячью шапку, из нее выпадает низ, и я верхом и низом приветствую дядьку. Это, видно, очень ему нравится, он придерживает около меня лошадок и кивает в их сторону бровями и усищами.

— Ну как?!

— Змеи! — говорю лишь одно слово.

Мой ответ будто медом смазывает дядьку Миколу.

— Змеи! — задиристо округляет он рот и так щелкает кнутом, будто кого-то подсекает. — Пусть себе Антанта аж пенится, а хлебороб жить будет!

Мы с Иваном многозначительно переглядываемся, но засмеяться побаиваемся, чтоб не разгневать весельчака. Когда еще в нашем селе не знали, что такое Антанта, дядько Микола, как тонкий знаток разных «международностей», по-своему растолковал это непонятное слово.

— Живет себе в Европе, чуть ли не под крылышком самой Англии, один король по имени Антон. Ну, а у него — видать, в семейном деле даже у королей не все шито-крыто — вреднющая-превреднющая жинка Антанта, Антониха, значит, по-нашему. Казалось бы, чего ей, кукле заморской, надо от нашей земли и от дядька? Так нет, все шипит, и шипит, и огнем дышит на нас. От большой злобы и малого ума собрала она со всего света наемную челядь, ткнула винтовки в руки, галеты в зубы, бросила своего Антона и притарабанилась аж в Одессу, чтоб воевать с нами. Ну, а что она будет иметь с этого? Одну дулю, даже без маку, потому что мы ей с фронта обломаем и ребра и хвост, и тем временем король Антон с тыла женится на какой-нибудь молоденькой мадумазели — и скребли тогда, Антанта, в затылке, потому что такое дело...

Правда, через некоторое время дядько Микола постарался забыть эту небылицу и уже серьезно пояснял, что

Антанта — это коалиция. А когда кто-то допытывался, что такое коалиция, дядько с сочувствием смотрел на него, как на Пилипа с конопель, и говорил:

— Да это ж, человече, даже куры на ярмарке знают, а мои уже и позабыть успели.

Так почему-то никто и не добился от него, что это за коалиция...

— Батько, вы ж обещали нас прокатить с ветерком,— напоминает Иван.

— Можно и с ветерком, за ним дело не станет,— соглашается дядько Микола, а тетка Лукерья безнадежно вздыхает.

— Ты чего ж это горюешь, будто последнее спекла?

— Ой, людоньки добрые,— стонет тетка Лукерья и говорит так, будто перед нею целый сход,— и зачем, скажите, я выходила за этого своевольца?

— Только для того, чтоб не продешевить и в девках не засидеться,— сразу отвечает дядько Микола.

А тетка снова жалуется невидимому сходу:

— Из-за этих лошадят, людоньки, мой баламут оставил нас без ложки молока. А оно ж, поверьте, было такое, что звездочки стояли на нем.

— А месяц не купался в твоем молоке? — невинно спрашивает дядько Микола.

Но тетка Лукерья даже бровью не повела на своего мужа, а снова просила совета у людей:

— Как нам теперь, родные мои, жить без набела?

— Что набел, главное движение — и наше и международное... Вот откормим, слышишь, кабана, так, чтоб сало было на две ладони...

Тетка Лукерья сморщилась и ударила руками по кожуху.

— Где ты видишь сало на две ладони?

— На нашем кабане, глядишь, еще и толще будет.

— А чтоб тебя! И тут похвальбы полные торбы! — наконец усмехается тетка и за сочувствием обращается ко мне:— Имеем поросенка чуть побольше рукавицы, еще когда его откормим, а он уже сало меряет! — И обращается к дядьке: — Гляди, еще сдохнет поросенок.

— Не сдохнет. Дорежем,— утешает он жинку.

— Дядько, а масть вы подобрали в самехонькую точку? — допытываюсь я, потому что не очень-то похоже, чтоб его лошадки были лучшими во всей Литинщине.

— А как же иначе?! Вот посмотри — теперь на них серебро.— Тронул кнутом изморозь на левом коне.— Собе-

речь серебро, золото увидишь. Жаль только, что у коренного звездочка маленькая. Но я ее белой краской увеличу.

— А господи, недоношенный ты или прибитый? — возмущается тетка Лукерья, не сомневаясь, конечно, что звездочка обязательно увеличится.

— Садись, Михайлик, провезу, как президента, и платы не возьму! — крутнул дядько кнутом над головой, а лошадята прижали уши.

Я вскочил на душистое, с ромашкой, сено, обхватил руками Ивана, а дядько гикнул, тряхнул вожжами, щелкнул кнутом. И вот под копытами тьокнул, присвистнул мерзлый снег, спереди запел колокольчик, а от саней, будто шарахаясь от такого дива, побежали изгороди, огороды, деревья и хаты.

— Ой, не гони так, Микола, а то все мои косточки, как на решете, перетряхнешь! — застонала тетка Лукерья, а мы с Иваном засмеялись.— Слышь, не лети, как байбак на свадьбу!

Да разве теперь дядько Микола услышит голос жинки?

— Вьо, мои, не чужие! — безумеет он, безумеет снег, отскакивая из-под копыт и из-под крыльев саней, безумеет свет, дугами отлетая от нас. А в мою душу забираются и начинают там бороться страх и радость, и невидимый сапожник забивает меж лопатками гвоздики. А лошадки уже не чуют под собой земли — кажется, вот-вот сани поднимутся вверх и полетят над удивленным селом. О, уже оторвались! Неожиданно мы слышим треск, нас подбрасывает ближе к солнцу и швыряет вбок. Мы все, как картошка, вываливаемся в снег, а сверху нас накрывают сено, и колья, и доски, что повылетали из саней. Я тянусь рукой к лицу — как оно там? — и до меня долетают одновременно два голоса:

— Тпру, тпру, змеи!

— И что ты за человек? Разве в твоей пустой голове есть хоть капля ума? Ты что, покалечить-осиротить детей нанялся? Деточки, лебедята мои, вы живы-здоровы?

Когда я, отряхивая снег и сено, встаю на ноги, я вижу пристыженного дядьку Миколу и до крайности возмущенную тетку Лукерью. Теперь с нее, как с дерева, сыплется снег, а желтые щеки горят давно потухшим румянцем.

— Разве ж я знал, что они такие?! — оправдывается виновник. У него сейчас даже усы погрустнели.— Вот все село скажет, что в руках моих медвежья сила, а удержать этих змеев никак не смог. Да с этими лошадками мы с тобой, голубка, озолотимся от головы до самехоньких пят.

— До самехонька пят? — сразу смякла тетка Лукерья и почему-то глянула на свои каблуки.

— Еще и за пятками немного останется,— не моргнув, заверяет дядько Микола, и мы все начинаем смеяться.

— И что вы на это скажете,— примирительно разводит руками тетка Лукерья,— сами видите: муж у меня — как дуб, а ума уродило с желудь.

— И для чего чужие слова красть? — не сердится, а усмехается дядько Микола и начинает укладывать в сани доски, колья и сено.— Садитесь, садитесь, слава богу, целехоньки.

— Вы себе как хотите, а я пешком, а то ты, безрассудный, и душу на погост свезешь.— Тетка Лукерья решительно обходит сани и направляется домой.

— И зачем томить ноги, если своя скотинка есть?— удивляется дядько Микола, трогает рукой затылок, а потом обращается к нам: — А вы, шалопаи, тоже пешедрала домой?

— А мы, дядечка, с вами хоть на край света, потому что так еще никогда не ездилось.

— Правда? — радуется дядько Микола, и что-то детское, трогательное пробегает по его курносому, присыпанному веснушками лицу.

— Правда, дядько.

— Ну, спасибо, спасибо,— благодарит он меня, хотя должно бы быть наоборот.

После этого дядько Микола становится серьезным и уже без ветерка довозит нас до своего двора, где вкусно чешется о рожок сарая тот самый, с рукавицу, поросенок, на котором должно нарасти сало в две ладони.

Дядько Микола достает поросенка кончиком кнута.

— Ты чего, беспардонник, вычухиваешь сало? Это для того мы тебя кормим, как герцога?

Беспардонник взвизгнул, отскочил в сторону и удивленно задрал на дядьку розовый пятачок.

— Красивый, красивый,— подхваливает его дядько, и нам с Иваном снова становится весело.

Из дядькиного двора я быстро выскакиваю в переулок и мчусь на каток — земли не чую. Заячья шапка сползает мне на глаза, я поправляю ее взмахом головы и чуть не налетаю на отца. Рослый, широкоплечий, он легко идет по земле, хоть на его плечах лежит крашивый, верно с зерном, мешок. Увидев меня, батько замедляет шаг и прижмуриваст один глаз, тот самый, около которого чаще всего собираются смешинки.

— Ты куда так метешь?
— Чего это мету?
— А разве не видишь, как за твоими ногами мстелица просыпается?
— Я назад не смотрю.
— Все времени нет?.. Так, значит, боком-скоком на каток?
— Чего боком-скоком? Я прямо-прямехонько.
— Оно и по сапогам заметно: один смотрит на лед, а другой — на сапожника. И тебе еще не надоел каток?
— Чего ж он должен надоесть?
— Ты ж туда ходишь, как поп в церковь. И за что только тебя учительница хвалит?
— А вы не знаете? — отвечаю смело, ведь видно же, что отец веселый.
— Нет, пока не знаю.
— За то, что в моей голове становится меньше половы.
— Вот чего не вижу, того не вижу.
Я деланно вздыхаю.
— А вблизи всегда хуже видно, особенно у своего.
— Каким же ты языкатым стал! — удивляется и смеется батько, и усмехаются все темные крапинки в его серых глазах.— А теперь айда домой.

Радость сразу как ветром сдуло, сердце падает в холод, а губы квасятся.

— Чего же опять домой? Я ж только-только из дому. И дров нарубил, и Обменной сена подбросил, и маме воды принес.
— Не переработался?

На эту каверзу я уже не знаю, что ответить, но так мне становится горько, что и не скажешь. Батько это замечает и говорит уже мягко, без насмешки:

— Нужно, Михайлик, смолоть гречку,— пошевелил он на плечах свою поклажу.
— На жерновах? — спрашиваю недовольно, потому что страх как не люблю крутить жернова: намахаешься, даже внутри все крутится.
— Нет, на мельнице.
— На мельнице? — оживаю немного.— Мы с вами поедем на мельницу?
— Поедешь, сынок, один, потому что мне сейчас надо идти на работу. Нанялся — продался.— И батько погрустнел. Он теперь из кожи вон лез, чтоб заработать на коровку.
— На чем же я поеду?

Батько прогоняет далекие видения и насмешливо смотрит на меня.

— Догадайся сам, ты ж страх какой сообразительный у нас.

— Если б вы всегда так говорили.

— Тебя похвали, ты и хату вверх дном перевернешь. Значит, не догадался, на чем поедешь?

— Эге, догадаешься, что у вас...

— Запряжешься в свои санки да так, присвистывая, и пометешь с горы в долину. Много ли этой гречки? А уже скоро свят-вечер. Нужно столько блинков напечь, чтоб ты за ними меня не видел. Ну как?

— Где мое не пропадало! Поеду!

— О, теперь вижу, что в твоей голове и правда поменьше половы. Другой бы, верно, больше щеки надувал.

— А разве ж я не ваше дитя? — сразу набиваю себе цену. За это схватываю «болтуна» и уже весело иду за отцом, стараясь попадать в его следы. Шаги у моего батька широкие, и когда ему приходится идти рядом с мамой, она просит, чтоб он придерживал ноги уздечкой...

Вот уже мешок и хворостина от собак лежат на санках. Я вцепился в веревку и, как всегда, без особой радости выслушиваю все мамины наставления:

— Ты ж не лети сломя голову, а то вспотеешь и простудишься. А если выскочит какая-нибудь собака, так имей ум под чубом, раз она его не имеет. Когда доедешь до мельницы, не тащи мешок перед собой, а то надорвешься, и придется шептуху звать. Попроси кого-нибудь помочь. А войдешь в ветряк, сними шапку и поздоровайся по-людски. И не мельтешись от мучника до ковша, ветра там и без тебя хватит. Мешок укладывай так, чтобы завязка была сверху, и не забывай...

— Не забуду, мама...— Сразу же забываю добрую половину ее советов, дергаю санки и выхватываюсь за ворота, что до сих пор имеют привычку разговаривать с ветрами и морозом. А за воротами сразу растет день, он перегоняет до самого неба подсиненные тени, а в небо врезались ветряки и наматывают на свои крылья солнечные нити и время.

Сколько помню себя, я люблю ветряки, люблю шелест их крыльев, гудение мельничных жерновов, вздохи и присвист ковша, когда он вбирает в себя зерно. Ветряки даже входят в мои сны, оживают в них, как люди, и разговаривают, как люди. Я всегда с охотой ездил на ветряк с дедусем, с отцом, а теперь впервые еду сам. Это меня

повышает в собственных глазах: я уже не какой-нибудь «очмана», «тарахтелка», «нечупайло», а матери-отцу помощник, который может и на людей поглядеть и себя показать. Вот если б еще на мне галифе были, гордился бы я, как турецкий боб в огороде! Но мать не очень спешит гнаться за модой и даже уверяет, что за галифе еще больше будут цепляться собаки.

После фольварка, протарахтевши через ребристый мост, я оказался на той дороге, что отделяет поле от левады. На леваде за вербами теперь собралось столько синевы, что можно в ней брести по колени, как в воде. А как играет на речке простреленный солнцем лед! Вот где б я мог блаженствовать с ветром, если б не встретился с отцом! Но разве и сейчас нельзя с санками свернуть на леваду? Поверну на огороды, а потом побреду по колени в синем цвету.

Пока я так раздумываю, меня догоняет скрип саней и лошадиное хеканье. Даже не оглядываясь, я знаю, что это едет кто-то из небогатых людей, потому что упряжь на конях не скрипит кожей, не позвякивает железом. Я сворачиваю, чтоб дать лошадям дорогу, и радостно встречаю взгляд мохнатобрового деда Данила, родного брата моей бабуси, который тоже едет на ветряк.

Все лето дед живет на пасеке в лесах и целый год пахнет воском, медом и травами. У него очень хорошие глаза, которые плачут на морозе, ласковая улыбка и немного скорбные губы, на них никогда не держатся ни злоба, ни поганое слово. И такой он весь аккуратный и чистый, что мне сразу хочется куда-нибудь запрятать свои руки.

— О, Михайлик, вот где мы встретились с тобой! — радуются дедовы глаза со слезинками. Он сползает с саней, подходит ко мне и кладет большую руку на мою шапку. И даже от его кожуха веет не овчиной, а всякими травами.— Как ты, дитя, живешь?

— Хорошо, дед, живу.

— Оно и видно,— грустнеет весенний цвет в глазах старого пасечника.— А куда ж Обменную дели, что сам чешешь на мельницу?

— Соседи притерли ей ногу. Есть же такие люди, что не имеют к скотине никакого понятия.

— На корову еще не разжились?

— Нет.

— Учишься хорошо?

— Хорошо, дед.

— Слыхал, что ты остропамятный у нас. Учительница уши не крутит?

— Она у нас добрая.

— И все равно вам надо хоть изредка крутить уши. От этого ума прибавляется в голове. Чего ж ты ко мне летом на пасеку не приехал? — Он перекладывает мой мешок в свои сани, а санки привязывает сзади.

— Как-то так вышло.— Сам удивляюсь, что не заглянул на пасеку.— В новом году обязательно приеду.

— Смотри у меня, и считай, что новый год уже начался. Ты знаешь, как он начинается? — Усаживает меня рядом с собой и пеньковыми вожжами трогает коней.

— Нет, не знаю.

— Может, рассказать, или ты не из любопытных? — смеются и плачут дедовы глаза.

— Мама говорит, такой любопытный, что дальше уже некуда. Расскажите.

Дед Данило пускает в бороду и усы такую усмешку, будто подсмеивается сам над собой, и неторопливо начинает рассказывать:

— Ну вот, когда зима обрывает с дней тепло, когда они становятся очень короткими и холодными, то кузнец над кузнецами — сам Сварог в своей кузнице кует новогоднее солнце, кует не покладая рук, еще и приглядывается, чтоб нигде не было окалины, потому что тогда летом не согреются ни люди, ни скот, ни деревья, ни растения. Он в этом знает толк и работает на совесть. Вот скует он солнце и зовет к себе богатыря Коляду. Приезжает Коляда, запряженный в свои сани, как ты в свои санки, укладывает на них солнце и едет да едет с ним до самого неба. Доедет до неба, до остывшего солнечного жилья, поднимет санки, солнце прыг с них в свой дом, а из него и выглянет к людям. Вот с этого дня и начинается новый год. Видишь, ты и не читал такого? — звенит насмешка в голосе старика.

И хотя я знаю, что это сказка, а все равно вижу у наковальни кузнеца над кузнецами Сварога, а около самехонького неба встречаюсь с Колядою, помогаю ему подтягивать сани с солнцем, еще и одним глазом заглядываю в тот дом, где живет оно,— может, у солнца тоже есть дети, так я с ними на каток сбегал бы.

— Вот мы и приехали! — Дед разрушает мое видение, я соскакиваю с саней, и снова передо мной сказка — поседевшие крылья ветряка, что упились солнцем и стряхивают на землю слезы.

На ветряке сегодня большой завоз. Около мешков и на мешках стоят и сидят крестьяне, а некоторые на корточках греются около макитры с горящими углями. Меж хлеборобов красуется в роскошной синей бекеше и серой смушковой шапке Юхрим Бабенко. И хотя ветер насквозь продувает ветряк, Юхрим не застегивает своей бекеши: пусть все видят его австрийские галифе и английский френч, подпоясанный ремнем шириной в ладонь.

Юхрим все-таки добился своего: сначала стал в волости сборщиком налогов, и, хотя люди прозвали его волостным сдирщиком, все равно как-то выскочил в уезд и работает там аж фининспектором. На новой должности он еще больше загордился, распузырился, но стал меньше употреблять писарских слов — перекинулся к политическим. Теперь, говорят, к Юхриму поплыли толстые деньги, не столько чистые, как нечистые. На его свадьбе, рассказывали острословы, даже птичье молоко было, а оркестр приехал из Винницы и для хозяина играл только польку-бабочку. На службе зеленые Юхримовы глаза стали маслеными, коржастые щеки подошли, затопили нос, прицепи под ним несколько волосинок — и кот котом.

Я стою около дверей, в ногах отдается мягкое гудение ветряка, и мне кажется, что Юхрим вот-вот замурлычет. От этих непотребных мыслей смех ну никак не может удержаться внутри. Я его давлю, придерживаю губами, а он пырскает и надувает мои щеки. Нет, видно, не выйдет из меня, как говорит дядько Владимир, учтивого ребенка — пойду я в свой перчистый, веселогубый род.

Юхрим прошил меня подозрительным оком раз, другой и въедливо спросил:

— У тебя, желтоклювый, есть баланс в голове?

— Натурально! — сгоряча отвечаю Юхримовым словом, и оно сразу вспыхивает в круглых глазах инспектора такой зловещей зеленью, что я тут же прикусываю язык и распутываю ноги.

— Ты еще смаленого волка не видал? — пригнувшись, двинулся на меня Юхрим.

Я оказываюсь за ковшом и оттуда удивленно и испуганно переспрашиваю:

— Смаленого?.. Нет, не видал.

— Так увидишь! — обещает Юхрим и пытается ухватить меня за ухо. Я отскакиваю дальше, а фининспектор встает на мое место и продолжает: — Увидишь, увидишь! Если не теперь, то в четверг. Без смаленого волка у тебя не обойдется...

И Юхрим угадал-таки: не раз в недобрые четверги крутился около моего слова тот смаленый волк, который один глаз застеклил вульгарным социологизмом, а второй — гнетуще-серым подозрением...

Но это было потом... А сейчас я получил неожиданную помощь. К Юхриму подходит тот самый дядько Шевко, что вылетает со всех служб, и презрительно спрашивает:

— Ты чего, гнусец, прицепился к ребенку? Еще рано с него налоги тянуть, дай подрасти.

— Да разве я за налогом? — растерялся Юхрим.

— А что ты другое умеешь? Ты уже и на родную мать, и на стебелек, и на зернышко смотришь глазами сборщика.

— А вы не собирали налог с огородов? — подкусил Шевка Бабенко.

— Так это ж был веселый налог. У тебя на это не хватит дарования! — Неожиданно добрая, с хитрецой усмешка начинает ворошить на лице дядьки Шевка все его веснушки: вспомнил, верно, свою последнюю должность.

В прошлом году его назначили уполномоченным по распределению огородных участков. Дядько Шевко охотно взялся за это дело и установил твердую таксу: две бутылки самогона, десять яиц и кусок сала. Правда, вечерами он все это честно делил с людьми — ничего не приносил домой. И все б у него было в порядке, если б одна женщина, у которой не оказалось куска сала, не пожаловалась на него дядьке Себастьяну. За Шевка взялся общественный суд. Судили его в школе, вспоминали все провинности в прошлом и удивлялись, как он снова пролез на должность. Наконец кто-то спросил Шевка:

— И ты не мог без сала нарезать бедной женщине участок?

— А на чем бы я тогда яичницу жарил? — возмущенно ответил Шевко.

Вся школа затряслась от смеха, хохотали и слушатели, и судьи, и обвинительница. Она первая сказала:

— Отпустите его домой, пусть жарит яичницу...

Шевко захлопал веками и растроганно обратился к истице:

— Спасибо, сердце, и пойдем ко мне на вечерю. Я, слышишь, когда хорошо поем, так моя душа будто на подушке лежит...

А вот на меня ветром налетает чернобородый, похожий на журавля мельник Иван, который живет за речкой и у которого очень красивая жена. Он тоже, как большинство взрослых, имеет привычку прикидываться, что не узнает

тебя, и так говорит с малыми, словно они только сегодня увидели свет. Но разве нам привыкать к этому?

— Ты что, приехал сюда зубы продавать? — гремит дядько Иван и сразу деласт три дела: грозно таращит глаза, трясет бородой и вытряхиваст из нее муку.

— Для чего мне эта комедия? — степенно отвечаю на вопрос вопросом и, вежливо коснувшись рукой шапки, кланяюсь мельнику.

— А чего ты щеки встром надуваешь?

— Чтоб лучше ветряк молол.

Это очень нравится мельнику, теперь он уже сам начинает смеяться.

— А ты, видать, хозяйственное дитя. Не пойдешь ли к нам в приймы?

Тут уж я не знаю, что ответить, только молча удивляюсь, почему это все взрослые так любят говорить детям про сватовство, женитьбу и приймы. Некоторые родственники подбирали мне невесту, когда я еще в школу не ходил. Наверно, думают, что и у нас в голове то, что у них. Дядько Иван, верно, догадался, что переборщил, и уже подходит с другого боку:

— Ну, а ты случайно не цыганское или молдаванское дитя?

— Да нет, я беленький, а вот ваша Люда чернявая, так, может, она молдаванка?

— Так ты даже мою Люду знаешь? Чей же ты будешь?

Ой, дядько, дядько, хорошо вы знаете, чей я, и лучше бы не спрашивали. У меня сразу становится тяжело на сердце, потому что вспоминаю одно из своих невеселых приключений.

Ветряки всегда манили нас, детвору, и своей красой, и какой-то таинственностью, и близостью к самому небу, и особенно крыльями, за которые, если они медленно двигались, можно было зацепиться, на дармовщинку покружить, замирая, увидеть невидимые с земли села, еще и показать пастушкам свою отчаянность. Делали так хлопцы, делал и я. И вот однажды, когда я затаив дыхание блаженствовал на крыле, кто-то вдруг обхватил меня руками, оторвал от крыла и влепил по тому месту, которое больше всего провинилось перед людьми. И только после такой операции я узнал не так сердитого, как напуганного дядьку Ивана. Неожиданно он прижал меня к себе, и в его глазах я прочел большую печаль.

— Что ты делаешь, дитя? — даже застонал мельник.— Сорвешься с крыла, отца с матерью осиротишь или навек

останешься калекой. Жаль будет жизни, а ничего не сделаешь... Не сердись на меня: не я тебя бил, а жалость моя.

Эти слова и печаль в глазах растопили мою обиду.

— Не будешь больше так делать?

— Нет.

— Побожись.

Я побожился.

— Вот и у меня свой крестник! — улыбнулся мельник и попрощался со мной, как со взрослым...

Наверно, и дядько Иван вспомнил то давнее, но заговорил о другом:

— У тебя какая гречка?

— Какая ж она может быть?

— Золотая или простая.

— Смешанная: немного золотая, а немного простая.

— Значит, к богатству дело идет.— Шутя, дядько Иван засыпает в ковш мое зерно, а меня становит к мучнику.

— Зачем пропустили на дурняк этого замурзу? — недовольно бурчит Юхрим Бабенко.

— Потому что нет у ребенка ни галифе, ни бекеши,— беззаботно ответил мельник.

— Ну да, ну да,— подтвердило несколько голосов.— Ребенка нужно отпустить раньше.— И добрые человеческие глаза своим теплом согревают меня.

Я краснею от людской ласки и наклоняю голову к мучишку. А в него уже летит-сыплется мука, окантованная черной шелухой. Это ж так приятно — рукой выбирать теплую-теплую муку, дышать ее пыльцой и прислушиваться к голосу у ковша, что выводит быль-небылицу:

Іду я собі, йду,
Аж стоїть церква на льоду,—
Млинцем зачинена,
Ковбасою защібана,
Салом замкнана,
Маслом запечатана.

Вкусив я масла — відпечаталась,
Вкусив я сала — одімкнулась,
Вкусив я ковбаси — одщібнулась,
Вкусив я млинця — одчинилась.
Вхожу я в двері, аж там — фе —
Стоїть фининспектор в галифе...

Вся мельница взрывается смехом, а Юхрим снизу, от мучника, начинает ругать кого-то непотребнейшими словами.

— Вот странный человек! Разве это про тебя говорится? Разве ты один фининспектор в галифе? — спокойно от-

зывается сверху приятный баритон.— И чего у тебя губа, лзк на колесе, крутится? Ишь как при детях насквернослошл, а жениться, однако, успел. Когда уже ты, поганец, придешь за умом к голове, а не к другому месту?

И снова всем становится весело, только Юхрим шипит, лзк сало на огне, и вытрушиваст зеленую злость из глаз.

— Я еще доберусь, разумник, натурально до твоєї шкуры!

А разумник беззаботно отвечает:

— Видно, из чьей головы вырастет довбня [1].

И снова все так раскачиваются от смеха, что мельнику приходится крикнуть:

— Да поменьше вытрушивайте смеху, а то вон какой ветер подняли — муку развеет!

Уже сумерки присыпали снега нежной розово-голубой пыльцой, когда я возвращался в село.

Позади меня крылья ветряка перелопачивали ветер и снег, впереди, в долине, готовились к свадьбе вербы-невесты, а на них ленивым затуманенным оком глядело небо. И вот уже скрылось око, поголубели вербы, поголубела дорога, сквозь снег туманом дохнула долина, а я себе иду и иду по самой середине раннего вечера. И легко идти моим ногам по земле, и легко лететь моим мыслям во все концы света.

Вот уже я не я, а великан Коляда. За мною поскрипывают не санки с мешком, а сани с самим солнцем. Нелегко мне само солнце везти. Но я упираюсь ногами в землю и везу его прямо к небу. Сейчас нужно собрать всю силу, поднять сани и впустить солнце в его дом, чтоб утешались и люди, и скот, и поля, и реки, и лес.

И пока я прикидываю, как буду поднимать солнце, как потом загляну в его дом, сзади неожиданно раздается смех. Я оглядываюсь и на мешке вижу красный платок, а головы не вижу.

— А кто это на дармовщинку прицепился?! — гремлю на платок.

— Хи-хи-хи,— отзывается придушенный смех.

— А ну покажись! Посмотрим, кого везем! — крепчает мой голос.

— Это я,— поднимает голову Люба и так заливается смехом, что на платке затанцевала бахрома.

— Откуда ж ты взялась?

---

[1] Большой деревянный молот или палка с утолщением на конце.

— С хутора от своей тетки Софии иду. Я еще издали увидела тебя, подкралась, примостилась на санках, а ты даже не заметил.

— Тоже мне груз! — пренебрежительно кривлю губы.— Сколько вас на фунт идет?

— А ты не задавайся! — подходит Люба ко мне и хватается рукой за веревку от санок.

— Лучше садись, подвезу!

— Тебе ж тяжело будет.

— Комаром больше, комаром меньше — все равно.

Сначала я вез Любу, потом она такое сморозила: что подвезет меня. Вот было смешно! А потом мы выехали на горку и стали спускаться втроем — я, Люба и мешок. Кто ж не знает, что главное в этом деле — внизу с разгона вывалиться в снег? Вот и вылетали мы из санок втроем. А когда мешок придавил Любу, я положил его около вербы, и нам вдвоем стало лучше и ехать, и падать, и подниматься, и отряхиваться.

Уже звезды усеяли небо, месяц-парубок вышел на дорогу и у нас в ушах гудело, когда Люба первой услышала голос деда Данила с поля.

— Что только он подумает про нас? — испуганно спросила она меня.

— Да, хорошего не подумает,— согласился я, и мы что было сил помчались в село, которое уже понизу раскачивало тени, а вверх посылало дымы.

На дороге, прощаясь, Люба сказала:

— Ты б когда-нибудь, Михайлик, к нам заскочил. Идешь с катка — и заверни в наш двор.

— Как-нибудь заверну. А козочка у вас и теперь живет?

— Живет, куда ж ей с перебитой ножкой? И серые куропатки у нас есть. Их очень хотел купить дядько Сергей. Ему, противному, понадобилось бросить их в суп. А мама не продала — пусть себе живут... И принеси мне что-нибудь почитать, а я тебе яблок дам. У нас даже тиролька французская есть, щечки у нее красные, прямо как у дивчины.

— Как у тебя?

— У меня ж смуглявые... У-у-у, противный! — уже исподлобья глянула и обиженно выпятила губы.

— Это ж я пошутил.

— Знаем, знаем тебя, насмешника. В вашем роду все такие.

— Ну да,— соглашаюсь я.— И хуже всего, что все сами себя не жалеют: пинают языками, как ножами.

— Это вы такие уж от природы,— усмехнулась Люба.— Будь здоров.

И я пошел. А когда оглянулся, Люба еще стояла у калитки, обивая с сапожек снег, и глядела мне вслед. Нет, она все-таки хорошая, хоть и редкозубая.

Около ворот меня уже ждали и батько и мама.

— Доплелся? — насмешливо спросил отец.

— Да как-то дотащился,— важно ответил я.— На вертяке завоз большой.

— За это время можно было коня с копытами смолоть. А может, ты вчерашнюю воду догонял?

— Да он, верно, со всеми горками и собаками здоровался,— усмехнулась мать.

— Или на катках сапоги дырявил,— добавил батько и так посмотрел на сапоги, что мои ноги жаром обдало.

— Еще дитя,— заступилась мать,— да все равно уже имеем помощника.

— А как же! — насмешливо согласился отец, с размаху поднял меня вверх и посадил на свое плечо. Я от неожиданности ойкаю, обеими руками обхватываю его шею, и ко мне сквозь скованные морозом ветви ясеней приближаются лучшие зори моего детства и приглушенный клекот тех далеких лебедей, что навсегда залетели в мои сны и жизнь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Теперь, ложась спать, я уже не кладу свои сапожки под голову, но и не ставлю в ногах, потому что тогда к ним чаще будет присматриваться батько. А это ничего хорошего не сулит.

Ну разве ж я виноват, что подошвы почему-то горят под моими ногами, каблуки, сердясь друг на друга, подаются в разные стороны, а подковки на них протираются, как бумага? Почему-то эти стертые на льду подковки больше всего удивляли и сердили отца. Он цепко, будто меня самого, за ушко подтягивал к свету покалеченные сапоги и сокрушенно качал головой:

— У тебя, разбойник, и железо не заржавеет.

Он нацеливал на подковки глаза и толстоватые губы, одну с щеточками усов, а другую с вмятинкой. По ним я безошибочно угадывал, какое настроение у отца, и, понурив голову, или молчал как рыба, или, будто огорченно, бросал:

— Разве теперь железо?

От этих слов вмятинка вздрагивала, отца с сапожками в руках начинало раскачивать веселье, к нему присоединялась мать, и потом уже я из-под самого грома вскакивал в смех...

Сейчас, верно, многих удивит, почему такие обыкновенные слова могли развеселить людей. Чтобы понять это, надо обратиться к тем годам, когда сквозь руины, нехватки и шипение «разных и всяких» неуклонно пробивалось новое. Тогда кое-какая немудрая продукция, что скупо доходила до села, не могла вызвать восторга, и о ней по-разному судили — все зависело от характера и отношения к тому, что звалось «такое время».

Говорят, какая-то въедливая тетка, выбирая на ярмарке комок белой глины, пренебрежительно изрекла:

— Разве теперь глина? Вот когда-то, при царе, была глина...

И эти темные слова тетки, которой даже теперешняя глина не могла угодить, развеселили веселогубых покупателей и пошли гулять по Украине милой, вызывая смех у добрых людей. Бросит кто-нибудь, к примеру, упрек парубкам, а его перебьют:

— Разве теперь парубки? Вот когда-то были парубки...

Эта шутка и меня несколько раз спасала от пакостного орудия, которое у нас и после революции называлось ремнем...

Сегодня батько тоже так взял сапоги за полотняные ушки, что мне захотелось как-то защитить свои уши. Он подносит сапоги к коптилке и, еще не глядя на них, косится на меня:

— Ну как?

— Бывает хуже,— неуверенно отвечаю и хочу перевести разговор на более безопасную дорожку: — Батько, а на Филиппинских островах бывает зима?

Ох, как хорошо было бы, если б отец вспомнил те края, где побывал на крейсере «Жемчуг», и забыл про мои сапожки!

— А тебе зачем это?

— Интересно.

— Не собрался ли туда на каток податься?

— А мне и нашего хватит.

— На Филиппинах нет зимы и катков нет. Еще какой-нибудь вопрос по географии задашь? — Батько сразу разгадал мои хитрости, и у меня стало как-то кисло на душе.

А мать молча пряла свою пряжу — красиво с отведен-

пой руки пускала до самого пола тугое веретено, оно гудело, как шмель, и, верно, навевало ей видения: на лугу или в лесу, отгоняя шмелей, наклоняется к траве наша коровушка. Разве ж я не знаю, что кому думается? А откуда ждать себе помощи? Эти каверзные сапожки не раз и не два доводили меня до синей тоски. Вот если б сейчас кто-нибудь догадался завернуть к нам в гости! У нас и гарох жареный есть. Я прислушиваюсь к клуне и двору, но там тише, чем в моем ухе.

— Таки протер! — удивляется батько, собирает в межбровье гнев и точнехонько повторяет то, что я всегда слышу в таких случаях:

— У тебя и железо не заржавеет!

А мне становится жаль себя: разве я виноват, что эти бесовы подковки протираются за несколько дней?

— Тебе надо покупать железные, только железные сапоги,— продолжает батько разглядывать обувку.

Я сразу прикидываю: «Вот если б, правда, разжиться на железные сапоги! Им бы сносу не было! Намотай побольше онучей и блаженствуй на льду без опаски».

— А что это? — Батько трогает каблук, который почему-то шатается, и смотрит сначала на меня, потом на кровать, где, свернувшись, дремлет ремень, и снова на меня.— Чего губы зашнуровал? Что это?

— Каблук,— безнадежно вздыхаю.

— Сам знаю, что каблук! — становится грозным отцовский голос.— А чего это он нацелился на поповскую леваду?

Кто ж его знает, чего он туда нацелился? Я пеку раков, снова вздыхаю, съеживаюсь, и душа сжимается, а в мыслях все равно на миг оказываюсь на поповской леваде, где лед так калечит мои сапожки. Нет, видно, ничего путного не выйдет из меня, придется идти в сапожники-латочники! Пока я так безнадежно стыжу себя, со двора отзывается Рябко. О! Иногда собачий лай может показаться музыкой! Из моих мыслей тут же вылетают и сапожничество и страх.

— Кто-то идет,— говорит мать.— Выйди, Панас, а то долго ли доброму человеку наскочить на столб в клуне?

Батько выходит, я веселею, поспешно хватаюсь за книгу, а мать усмехается:

— Не пора ли тебе, болтун, пожалеть и сапоги и ноги?

— Ноги я летом как бью, а никто не ругает,— бормочу себе под нос.— Если б у нас одна цена была на ноги и сапоги!

— Ну ты и скажешь,— рассмеялась мать и повернулась к дверям: в клуне уже звенели чьи-то промерзшие сапоги, видно, долго кто-то был на морозе.

Вскоре вошел батько со своим братом Яковом, силуэта которого ощущалась даже в складках кожуха.

— Добрый вечер! — здоровается дядько Яков, используя слушной правой рукой расстегивает кожух и ставит на стол две зеленые бутылки пива, превратившегося в лед.

— Ну и мороз к ночи — шипит. Ты не поставишь, Ганна, это диво в печь? — кивает на бутылки.

— Можно и в печь,— удивляется мать, чего это навестил нас дядько Яков, который из-за своей машинерии на свет божий не показывается.

Талант моего деда больше всех унаследовал дядько Яков — он был и кузнецом, и слесарем, и столяром, и стельмахом, и токарем. Ни одна путная железяка, что попадала в село, не миновала его двора. В войну он добрался и до снарядов — вытаскивал из них начинку, а из стали варил лемеха для плугов. На этом деле его постигла беда — один снаряд взорвался, развалил кузницу, отчекрыжил и куда-то забросил четыре пальца с левой руки мастера. Ох, и горевал по ним дядько, когда пришел в себя, и все просил родню отыскать пальцы во дворе или огороде.

— Вместе они работали, так пусть бы вместе и отдыхали,— говорил дядько и клял тех дьяволов, которые додумались повтискивать в железо смерть.— Их бы, недолюдков, заклепать в то железо и выстрелить в океан.

Когда зарубцевалась его левая рука и он как-то научился орудовать обрубком, снова взялся за снаряды, потому что людям надо было пахать землю. Правда, теперь дядько Яков мудрил над снарядами не в кузнице, а на огороде, потому что, если б опять что-нибудь случилось, жаль было бы кузницы и особенно новых кожаных мехов.

Много лет назад, когда батько был еще парубком и работал в лесах князя Кочубея, дядько Яков взял у него на обзаведение хозяйством тридцать рублей. Потом дядько засомневался, стоит ли возвращать долг. Пять рублей он принес сразу по приезде отца, положил на стол и заговорил, обращаясь не столько к родне, сколько к маленькой головке мелкого царя!

— Вот вам, брат и Ганна, золотая пятерка, хлеба себе прикупите или что-нибудь в хозяйстве. А как дальше нам рассчитываться — сам не знаю, трудное это дело: при царе были одни цены, теперь другие.

— Не так уж трудно,— сказал батько.— При царе корова стоила у нас тридцать рублей и теперь тридцать.

— В самом деле? — удивился дядько.— Нужно будет пойти на ярмарку, сверить цену.— Он поспешно стал собираться домой и с тех пор больше не заходил к нам.

— Все цену сверяет,— насмешливо говорил отец, когда заходила речь про давний долг...

Теперь дядько Яков не прячет своих узковатых глаз, и у матери просыпается надежда.

— Так как вы поживаете в этих хоромах? — Дядько стучит промерзшими сапогами.— Приспособились на ощупь ходить. А пол почему осел, не от достатков?

— Да нет, от нехваток. Они ночью гарцуют по хате и все спрашивают, когда ты, наконец, потрясешь кошельком,— оживают бесенята в батьковых глазах.— Что-то ты, Яков, очень веселый сегодня. Обдурил кого?

— А чтоб тебе! Узнаю своего правдивого брата,— засмеялся дядько, и запрыгали оспинки на его лице, те самые, про которые дядько иногда говорил: «Было у меня лицо ничего себе, а черт подлатал его решетом».

— Так откуда к тебе радость пришла? — насмешливо допытывается батько и даже на меня глядит веселей.

— Спрашиваешь, откуда радость пришла? От этих шести пальцев,— протянул брату обе руки.— Хоть они и сироты, а не оболенились и толк от них есть. Сегодня прискакали ко мне из Литина, чтоб я поворожил около новой мельницы. Там, говорят, уже какой-то инженер копался и ничего не сделал. Кто-то возьми и догадайся послать за Яковом! — Дядько прямо подрастает посреди хаты.

— И как? — усмехнулся батько.

— Таки наладил! — Дядько упрямо топает сапогами.— И за неполный день заработал дурные деньги — целых десять рублей серебром. Еще и магарыч поставили.

— Десять серебром?! — не верит мать.

— Пересчитайте! — Дядько неторопливо достает из кармана черный, похожий на крота кошелек и величественным жестом бросает на сундук.— Бери, Панас, на корову!

От этого дива у матери выпало веретено из рук, она, верно, уже увидела свою коровушку.

— Спасибо, Яков, спасибо,— исчезают бесенята из батьковых глаз.— А я уже грешил на тебя.

— И было за что,— грустнеет дядько.— Много, ой много грязи наросло на моей душе, иногда чищу и до конца отмыть не могу... Вот сам посуди: зачем мне понадобился батьков навес? Своего, что ли, не имею? Так нет, сообразил

забрать и оставил родного брата с одной клуней, еще и копейку его хотел утянть. Бить меня за это мало... Вот сегодня каюсь, а завтра снова за то же самое возьмусь.

— Так скрути свой нрав, брат, пока он тебя не скрутил,— с жалостью смотрит батько на брата.

— Не могу скрутить его,— вздохнул дядько.— Он, проклятый, сильней меня.

— Почему?

— Почему? — Еще больше сузил он глаза, а оспинки будто покрупнели.— Потому что пошу страх в сердце.

— Вы носите страх в сердце?! — не поверила мама.— Так как же вы снаряды разбираете?

— Что снаряды! — поглядел куда-то вдаль дядько Яков.— Есть страшнее их.

— Что ж это?

— Страшнее — мужицкая старость, тот день, когда тебя откажутся слушать и твои пять пальцев и твой обрубок, когда станешь никому не нужным трухляком, а из углов на тебя заморгают злыдни. Поэтому и вырываешь, и выжимаешь каждую копейку, и прячешься с ней, как вор, а она ж, гадина, несет тебе одно только паскудство, неотступно мельчит и мозги и душу. Хорошо знаю, что надо жить по правде. Но знаю и другое: делай по правде — глаза вылезут. Потому и бредешь меж двумя берегами, спасая тело и губя душу.— Дядько грустно посмотрел на меня.— Может, они, дети, не хлебнут нашего проклятого варева, а найдут лучшую долю. Про это теперь большевики и в газетах пишут. Что ты, школяр, скажешь?

Пораженный дядькиными словами, я не знаю, что ответить, и за меня говорит отец:

— Какая ему выпадет доля, никто не угадает, одно только знаю: будет он жить по правде, не побредет меж двумя берегами.— Батько подошел ко мне и так положил мне на голову руку, что я до сих пор ощущаю ее тепло.— Правда, сынок?

— Да,— благодарно смотрю на отца и удивляюсь, как он может иногда ругать и даже замахиваться на меня ремнем.

Дядько Яков недоверчиво покачал головой, хмыкнул:

— Если он задумает жить по правде, так пусть заранее ржаную солому припасет.

— Это зачем ему такое добро? — взволнованно спросила мать.

— За правду отовсюду придется падать ему, так в этом деле солома немного поможет.

— Какой же вы, Яков, недобрый,— вздохнула мать.

— Вот видишь, я правду сказал, а ты уже ощетинилась. И так каждый, потому что всякий человек — от Ивана и до царя — имеет в душе такие закоулки, в которые не хочет и солнце пускать, не то что кого-то с правдой. Вот живет в нашем селе один чудило, вроде святого, Себастьян, значит. Ничего не скажешь про него — правильно живет. А что он имеет с этого? Идею и шинельку? И что получается? Некоторые дядьки грозятся хату его спалить, а кое-кто из начальства без соли съел бы его.

— Это кто ж?

— Хотя б наш начальник милиции. Себастьян уличил его прилюдно, а он Себастьяна где может, там и подгрызает потихоньку, еще и идеями свое паскудное варево приправляет. Много на свете есть и таких, как Юхрим Бабенко,— они б все солнце забрали себе, а другим одну тень оставили. Правда — она, как слово божье: слушай ее, кого-то поучай, прикрывай ею, как одежкой, грешное тело, а делай — как жизнь крутит свои дорожки.

— Узнаю тебя, Яков, всего, с непотребством твоим, как на ладони вижу,— покачал головой батько.

— А я и не прячусь со своим непотребством, а живу лучше тебя, так было да и, наверно, будет: железо легче куется, чем людской нрав. Погляди, Ганна, не оттаяло ли пиво. Выпьешь со мною, Панас?

— Лучше б с тобой рогатые пили!

— Люблю характер своего брата! — засмеялся дядько Яков.— Ты всю жизнь будешь со своим характером постный кулеш хлебать. А мне почему-то никак не хочется, даже при новой власти, идти в святые: там ни выпить, ни подмигнуть какой-нибудь молодушке — из-за них не попаду я в рай...

Эх, дядько Яков, талантливая и несчастливая родня моя! Мне до сих пор жаль не так вашей покалеченной руки, как искалеченной души...

Два кузнеца живут около человеческого сердца, один кует для него серебряные струны надежд, а второй — ржавые оковы жадности. Не победил, дядько Яков, ваш первый кузнец второго, мелочность будней притуманила добрый кузнечный огонек. Жаль мне и его и вас. И все равно я с удивлением и признательностью вспоминаю те лемехи, которые ковали вы из самой смерти!

Прямо над нашими воротами стоит звезда, а мимо ворот проходят люди и время. Как идет оно, лучше всего видно по нашим ясеням — они покрываются то весенней

росой, то зеленым шумом, то осенней грустью, то набра-
сывают зимние платки. Иногда, когда я сплю, время при-
ходит, постоит-постоит в изголовье и слегка дернет за чуб
меня, малого, чтоб тянулся вверх. Так я и расту!

Это говорит моя мама. А что время бывает добрым и
злым — знаю сам...

Сегодня оно веселило отца и мать, а меня печалило.
Серебро дядьки Якова не принесло мне радости: отец с
матерью сразу же решили, что, если найдется покупатель
на Обменную, можно будет купить коровку.

— Так вы хотите продать Обменную? — даже вскрик-
нул я, услыхав такое.

— А что же делать?

— Не надо,— задрожал мой голос, а в хате стало со-
всем тихо.

— Не мы ее продаем, нужда наша,— через какую-то
минуту грустно сказал отец.— Вот вынеси ей последний
раз это, и...

— Батько...

— Помолчи, Михайлик, без тебя тошно.

И я замолчал, но так мне стало тяжело, что и не ска-
зать. Какая ни есть наша Обменная, а жаль ее: сколько
лесов изъездили вместе, сколько было радостей и невзгод!

Плохо спалось ночью, и все время приближались ко
мне большие темно-синие глаза нашей и уже не нашей ло-
шади, слышалось ее неспокойное ржание. Я несколько раз
просыпался, смотрел на месяц, что грустил в одиночестве,
и снова забывался тревожным сном. На рассвете я напоил
Обменную водой с туманцем, что и зимой тантся в нашем
колодце, и, вздыхая, вывел ее из клуни во двор, где на
снег розовыми лужицами легли отсветы утренней зари.
Я прощаюсь с лошадкой, глажу ее, она, видно, поняла мою
печаль, прижалась ко мне шероховатыми старческими гу-
бами и грустно-грустно заржала.

— И скотина что-то чувствует,— вздыхая, подходит к
нам закутанная мать, тоже собравшаяся на ярмарку:
как же без нее отец может купить коровку? — Вот, Ми-
хайлик, считай, нет у нас Обменной.

— Хоть не говорите,— еле сдерживаю печаль.

— И мне жаль, да что поделаешь.

Вскоре к воротам подъезжают дядько Трофим с отцом,
и наш небольшой двор наполняется шумом. Дядько Тро-
фим начинает со всех сторон оглядывать и теребить Обмен-
ную, а батько не сдерживает насмешки:

— Смотришь, не обернулась ли в коня перед продажей?

Дядько хотел было насупиться, но раздумал и усмехнулся теми карими глазами, в которые откуда-то захватил такие золотые ободки, что прямо околдовывали женщин: «Ты ж, когда идешь на люди, хоть прикрывай свои перстни веками!» — не раз наказывала ему жена.

— У вас водка найдется? — спрашивает дядько Трофим, не отходя от Обменной.— Подпоить се надо.

— Подпоить лошадь? Да что вы, Трофим? И для чего это? — удивляется мать.

— Водка придает блеск глазам и на какое-то время молодит коня,— со знанием дела поясняет дядько Трофим.

— И зубы она тоже молодит? — подсмеивается отец.

— А зубы ей надо было б почернить, потому что, если у лошади черные зубы, никто ее возраста не узнает.

— Так у нее уже на голове посеялась гречка [1].

— А гречку надо покрасить.

— Мало ли чего ей надо, но мы не будем тратиться ни на краску, ни на водку.

— Дело хозяйское,— явно огорчился дядько Трофим, который любил подпаивать коней, не забывая при этом о себе.

Уже совсем рассвело, когда мы выбрались из села. Отовсюду ехали и шли на ярмарку люди, впереди и сзади поскрипывал снег, раздавались голоса, а девчата всю дорогу осыпали смехом, и, прислушиваясь к ним, старые липы стряхивали голубую изморозь.

Около перекрестка мы догнали дядьку Владимира. Он так тянул за собой заарканенную корову, словно собирался посадить ее себе на плечи.

— Владимир, не скрутите ей шею,— сказал дядько Трофим.

Скупердяй блеснул злым оком, но дядько Трофим не отстал от него.

— Владимир, сажайте ее на плечи, а то она вас на рога посадит.

— Бывают и безрогие хуже рогатых,— хмуро отозвался дядько Владимир.

— Сколько же за корову просите?

— Все деньги,

— А молоко от нее хоть на пасху видели?

— Лучше б я тебя, безмозглого, не видал!

Но дядько Трофим не гневается, а смеется и уже смотрит в сторону:

[1] У старой лошади появляются пучки волос другого цвета. Их называют гречкой.

— Вот полюбуйтесь на танец!

Там, под липой, чуть не плача, стояла тетка Дарка, а в двух шагах от нее крутился как бешеный и полупригибал тощий поросенок.

— Дарка, он у тебя карапет или польку-бабочку разучивает? — спросил батько.

— Ох, и не спрашивайте, что эта холера вытворяет,— застонала женщина.— Купила же за свои деньги такую бяду! Думала, кабанчик, а он не поймешь что. Так кум надоумил перед торгом напоить его водкой, а он вот что вытворяет!

Женщина ударила поросенка хворостинкой, тот с перепугу сделал пару умопомрачительных прыжков, осел на задние ноги, взвизгнул и удивленными красными глазами поглядел на хозяйку.

— Он у тебя и на сцене мог бы выступать,— засмеялся отец и многозначительно посмотрел на дядьку Трофима.

— Свиньям водка не так идет на душу, как коням,— пробубнил дядько Трофим.

— Вот не знал до сих пор, что свиньи имеют душу,— подкусил отец дядьку Трофима и помахал рукой тетке Дарке: — Возвращайся-ка домой и протрезви своего танцора огуречным рассолом.

— Так, наверно, и придется сделать,— печально согласилась женщина,— пропал торг, пропала и водка. А чтоб тебе, такой-сякой!..

И откуда столько народу берется на ярмарке?! И как только не потеряться в той движущейся каше, что разбухает, бурлит, гудит, смеется, торгуется, сквернословит, перекликается ржанием коней, ревом волов, звоном железа, горшков и струнами лирников?

И чего только нет на ярмарке! И кожухи ниже пят, чтоб за собой мели снег, и коротенькие, обшитые смушкой кожушки для девчат и парубков, и свитки, и керси, и сапоги разных фасонов, и постолы, что смеются всеми складками, и шапки, как стожки, и такие укороченные, что с ухом не поздороваются, и рукавицы, и штаны, и цыганские сережки из червонного золота, и перстни позолоченные. И все это самодельное, замысловатое, хитроумное. Есть у нас здесь и фабричные сукна: английские, французские, немецкие, австрийские — все это отбито у завоевателей; покупают их не солидные люди, а фертики — ветрогоны и писаря, которые хватают моду за хвост, чтоб с ее помощью показать свой ум. Даже какао у нас есть! Захватили дядьки это добро на станции Жмеринка, выгрузили из чужого эшелона,

привезли домой — нюхают, как табак, и не знают, что за диво: перец пахучий или что другое. Но женщины догадались, что это заграничная глина, развели водой и стали обмазывать завалинки. А что из этого вышло? На такое диво как бешеные накинулись свиньи и начали обгрызать завалинки. Теперь у нас дознались, что оно за какао, посматривают на него пренебрежительно. А когда кто-нибудь привередничает с едой, насмешливо спрашивают:

— Так что вы будете кушать — какаву или рубец?

И какого только масла нет у нас! И подсолнечное, и льняное, и конопляное, и из рапса, и из рыжея, и из мака. И такое оно, говорят, полезное, что помогает даже тем, у кого почему-то не хватает масла в мозгах.

А вот материи на ярмарке мало, и она кусается: очень уж дорогая. Самодельное полотно теперь заменяет крестьянину ситец.

Над дорогой разноцветными горами возвышаются горшки, миски, кувшины, крынки, макитры, и женщины руками выбивают из них звон.

— Разве это горшок?! — расхваливает гончар какой-то молодой женщине свое добро.— Да в нем больше звона и навара, чем в иной голове...

— Вот святая Варвара, что ночь оборвала, а день дотачала! — выкрикивает маляр и показывает женщинам картинку: молоденькую веселую Варвару, которая вовсе не похожа на святую.

— Почему ж твоя Варвара в лентах? — подозрительно допытывается пожилая женщина.

— Потому что она еще не дожила до ваших лет. Ей тоже хочется погулять в девках...

— Возьмите, хозяин, дешевле за кадку.

— Никак не могу дешевле,— упирается степенный бондарь с усами Тараса Бульбы. Вокруг него, как солдаты, стоят большие кадки, бочки и бочонки, в них посвистывает ветер.

— Это почему ж не можете? Что она, родила вас?

— Та нет.

— А может, она из серебра-золота?

— Та нет,— тянет свое бондарь.

— Так чего ж трясетесь над ней?

— Чего? Я в этой кадке, человече, семь лет прятался от жинки, только на восьмой помирились. Жаль по дешевке расставаться: себе дороже стоит.

— Га-га-га!..

На скотном торге наша Обменная не привлекла внима-
ния покупателей. Привязанная к саням дядьки Трофима,
она понуро перебирала сено и, вероятно, думала о люд-
ской неблагодарности. Покупатели равнодушно проходили
мимо ее натруженных лет и останавливались около коней
с неводочным блеском в глазах.

— Долго нам придется водить ее по ярмаркам.

— На всякий товар есть покупатель,— успокоил отца дядько Трофим.— Найдется и на Обменную.

— Хоть бы десятку за нее дали.

— Может, и десятку дадут, может, на девяти сойдетесь, да и восемь — деньги,— не отчаивался дядько Трофим.— Главное, чтобы свежая копейка забренчала. А вон и Владимир купцов разгоняет — видно, загнул цену, как за родную маму. Может, пособить ему?

— Пособляй.

Дядько Трофим подошел к скупердяю, пошептался с ним и схватился обеими руками за голову.

Дядько Владимир, крякнув, махнул рукою — где, мол, мое не пропадало. Тогда дядько Трофим втиснулся в толпу и вытянул оттуда дядьку Миколу, тот подошел к корове, смерил ее лукавым оком и заговорил, будто в цимбалы заиграл:

— Слышите, люди добрые? Продается корова не корова, а диво. Имеет она четыре соска, два рога, один хвост — и все доятся! Из сосков течет молоко, из рогов — масло, из хвоста — жир.

Покупатели сразу двинулись к корове дядьки Владимири, и вокруг него поднялся хохот.

К нам молодцевато подошел дядько Трофим.

— Ну, продаст Владимир корову? — спросил его батько.

— Теперь продаст, если не передумает: Микола так ее расхвалит, что Владимир, чего доброго, поверит ему.

Вскоре дядьку Трофима, отца и мать пригласили добрые люди выпить магарыч.

— Как же мы все пойдем? — заколебалась мама.

— Чего вы, Ганя, беспокоитесь? — пожал плечами дядько Трофим.— Оставим тут Михайлика и пусть просит за коня все двенадцать рублей. Разве ж мы надолго? Ты ж, хлопче, гляди не продешеви! — блеснул он веселыми золотыми перстнями и увел отца с мамой.

Когда они затерялись в людской гуще, я хотел было на минутку отлучиться к кобзарю Демку, голос которого доносился с другого конца ярмарки. Но в это время около са-

ней как вкопанный остановился долговязый в высокой шапке селянин. Он удивленно дунул на свои усы, отделил два прокуренных клочка, потом осторожно обошел вокруг Обменной, хмыкнул и спросил меня:

— Она еще жива?

Такое даже батько не выдумал бы. Я сердито глянул на насмешника и отвернулся. А покупатель погладил лошадь, провел рукой по ее голове и — чудо! Обменная не ощерилась, а тихо заржала.

— В самом деле жива! — еще больше удивился дядько, на его привялых щеках и под раздвоенными усами шевельнулась усмешка.

Я еле сдержался, чтоб не нагрубить.

— Хлопче, а сколько этот рысак стоит? — хитровато посмотрел на меня долговязый.

— А зачем он вам?

— Да вот хочу поставить его в рамку и любоваться.

— Тоже самое и мы делали.

Покупатель засмеялся и снова спросил:

— Так сколько он стоит?

— Двенадцать рублей.

— Это почему ж так дешево? Почему не все двадцать?

— Об этом уж отца спросите.

— А где ж он?

— Где-то на ярмарке,— задрожал мой голос. Я догадался, что передо мной настоящий покупатель.— Дядько, вы думаете купить нашу Обменную?

— Собираюсь. А что?

— Я бы вам не советовал.

— Что, что?! — вытаращился на меня долговязый, оттопырил губы на пол-аршина от зубов, а потом расхохотался.— Вот это напал на продавца! Такого еще на своем веку не встречал! Комедия, да и только!..

Для него это была комедия, а для меня горе.

— Почему ж ты не советуешь? — нависает надо мной покупатель.

Я оглянулся. Вокруг шевелилась, гудела, била в шершавые ладони, смеялась и вызванивала ярмарка — никому нет дела до моих тревог и огорчений.

— Так все-таки почему ты не советуешь мне быть вашим сватом? — не терпится долговязому.— Скажи чистую правду — куплю бублик.

— Не нужно мне вашего бублика.

— Если такой гордый, как знаешь. Говори, что хотел сказать.

— А вы отцу не расскажете?

— Зачем мне на союзника наговаривать? — искренне удивляется долговязый.— Говори!

— Старая она очень.

— Старая, но сильная,— заступился за Обменную покупатель.— Вы ей впадинки под глазами не заливали топленым воском?

— Это для чего же? — с опаской спросил я.

Долговязый пощупал у Обменной под глазами.

— Развелось теперь хитрецов, что и коней подкрашивают, чтоб нашего брата обдурить. Еще какая у нее порча?

— Немного кривобокая...

— Для рабочей лошади невелика беда. Еще что?

— И вредная она: кусает, лягается. А быстро поехать на ней — и не думайте.

— Спасибо, парень, утешил. Ох и утешил,— снова засмеялся покупатель, по-всякому щупая меня удивленными глазами.— И где только такие продавцы берутся? Тебя, поди, нарочно, нарочно наняли отгонять покупателей?

Тут вернулись раскрасневшиеся отец с матерью и дядько Трофим. Я сразу притих, съежился, а покупатель насмешливо спросил отца:

— Чем вы, человече, своего рысака кормите?

— Золотыми галушками,— не растерялся отец.

— Оно и видно, что золотыми, потому что все зубы съедены. А какая цена ему?

— Разве дитя не сказало?

Покупатель подмигнул мне усами, на которые напирал красный, как перец, нос.

— Дитя такое сказало, что вам нужно еще доплачивать, чтоб кто-нибудь взял этого рысака.

— Ой, дядько!..— скривился я и сразу так подался назад, что чуть не шлепнулся.

— Что ж оно наболтало вам? — верит и не верит батько.

А у долговязого от смеха на щеках бугры выскочили.

— Сказал, что лошадь старая, как Ветхий завет, и кусает и брыкается, а быстро поехать на ней и думать нечего.

— Дождался, значит, помощника! — Батько так глянул, что у меня в глазах и под ногами закружилась вся ярмарка.

— Так-так,— нахмурился и дядько Трофим.— А еще и школе науку проходит.

Покупатель, просто извиваясь от смеха, положил руку отцу на плечо.

— Да вы, человек добрый, не очень-то гневайтесь на своего умника. Все это я знал лучше его и лучше вас: кобыла же когда-то была моей!

— Вашей?! — совсем округлились глаза у дядьки Трофима, а по их перстням побежал туманец.— Неужели

— Моей! — снова засмеялся долговязый.— Я еще каким-то подвыпившим чудакам продал ее за коня и после того смеялся два дня и три ночи. Проснусь — и хохочу!

— Чудной вы человек,— не знает, что сказать дядько Трофим, отец же от этого разговора веселеет, а я начинаю понемногу оживать.

А долговязый, вспомнив что-то, подходит к Обменной, обнюхивает ее губы и спрашивает:

— Вы ее водкой не подпаивали?

— У нас не ваши замашки,— насупился дядько Трофим, а у отца ямка на подбородке вздрагивает к смеху.

— Да вы не злитесь: кто кого не обманывает на ярмарке,— с симпатией смотрит долговязый на дядьку Трофима.— Тут мы все становимся немного цыганами. А с вами, надеюсь, сватами будем. А?

— Может, и будем.

— Продал я когда-то эту клячу за десять рублей, а теперь берите девять — и по рукам. Надо же хоть жинку порадовать, что выкрутил у кого-то свой рубль. Как вы на это?

— Пусть будет так! — Батько ударил по руке чудного покупателя, тот тоже ударил батькову руку и полез в карман за кошельком.

— Вот люблю, когда какая-то коммерция есть,— развеселился, наконец, дядько Трофим и прикрикнул на меня: — Как же ты, отцов сын, мог такого намолоть? А?

Я исподлобья глянул ему в глаза и ответил:

— Потому что мой батько учил меня говорить только правду.

— Всюду, но не на ярмарке! — заиграл глазами батько.— Тут и святые правды не говорят: неинтересно покупать будет. Бублик хочешь?

— Ой, хочу! Если можно — с маком!

— Еще и с маком? — посуровело отцово надбровье.— Дома я тебе дам маку!

— Ну? — не поверил я: разве не видно было, что гроза уже проходила над моей неразумной головой?

А тем временем покупатель кивает нам и тянет за повод Обменную. Я подбегаю, обхватываю, прощаясь, двумя

руками ее голову и вижу в больших притемненных глазах лошади человеческую печаль.

— Дядько, вы ж только не бейте ее, она ведь старая, натруженная,— чуть не плача, умоляю нового хозяина.

— Да не буду ее кости калечить,— пообещал тот и повел с торга уже не нашу Обменную.

Я долго-долго смотрел им вслед, пока не скрылась с глаз сначала Обменная, а потом высокая шапка крестьянина.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Знаете ли вы, что такое полотняные галифе?

Даже сам Николай Васильевич Гоголь сказал бы:

— Нет, вы не знаете, что такое полотняные галифе.

И верно, лучше б не видеть этой роскоши.

Но чего только не пришлось узнать детям той страны, что стала сердцевиною нового мира!.. Войны, разрухи, блокады, нехватки пригнули наше село к убогой сохе, самодельному ткацкому станку и мертвящей коптилке. Молодая наша история шла по селам не в серебре и злате, а в грубом самодельном полотне, но все равно ее веселые голубые глаза лучились надеждой.

В то время многие наши будущие ученые, астронавты и чародеи сло́ва засыпали и просыпались под шепот материнского веретена. И оно приносило в их сны и жужжание шмеля, и песнь розовой гречихи, и взмах крыльев ветряка, и такие думы, от которых рождаются новые дерзания и новые крылья.

А какие мысли не давали покоя нашим матерям? И многие ли вспомнят, что в том белом полотне, которое расстилалось тогда повсюду и за гроши вывозилось в другие страны, таились бессонные ночи, пригашенный коптилками свет очей и стон стертых пальцев?..

Я недолюбливал работу около терниц, бительниц, когда пряли нить, золили; но очень любил то время, когда отбеливают полотно. Если вы не знаете, как это делали наши матери, то вы многое потеряли.

Начиналось это, когда на лужках и левадах затопленный латач прямо в барвинковой воде засвечивал свои золотистые огоньки, а в лесу куковала кукушка. И вот утром рано-ранехонько, когда в селе вздыхает ленивый туман, на лужок с полотном на плече приходит хозяйка. Она встает лицом к новорожденному солнцу, купает в нем свои

«...Снова над нашей хатой пролетают лебеди» (с. 4)

«...Мать брала меня... и вела смотреть на это чудо». (с. 33)

«...И я равнодушно говорю:- Нет, не хочу». (с. 54)

«Иногда мне кажется, что и сам я *похож на ветряк...*» (с. 63)

«—...Чтоб вы мне хоть немного растолковали одну книгу». (с. 86)

«...Отец с матерью смотрят на меня, улыбаются...» (с. 180)

«Около школы уже шумно и весело». (с. 185)

«...А за дорогой отозвалась шедривка...» (с. 271)

ресницы, что-то доверчиво шепчет ему, а потом, подоткнув подол, босоногая, входит в воду, выбирая такое место, чтоб мне полотна лежал на воде — на латаче, на траве и мягче,— а верх пропитывался лучами. А если б не это, разве зимой наши субботние сорочки пахли бы мятой и весною?..

В те времена в нашем селе пошла мода на галифе — да такая, что, как лихорадка, захватила всех мужиков. И каких только не было у нас тогда галифе: и круглые, как полубубен, и полукруглые, и такие, что начинались изгибом и заканчивались выпуклостью, и такие, что напоминали перевернутую голову быка, и просто рогатые! Девчат — и тех соблазнила мода, неважно, что они тогда еще не носили брюк,— все равно некоторые придумывали галифе на рукавах сорочек: начиналось оно прямо от манжет и сходило на нет, не доходя до плеч. Правда, в девчачьих галифе не было такой пышности, но и они вызывали зависть или осуждение у тех, кому не разрешали гоняться за модой.

Так что́ после таких портняжных новшеств должен был делать я? Тоже канючить галифе. На это мать сразу же ответила:

— Хорош и без галифе.

— А в галифе, наверное, еще лучше буду.

— Для меня и так хорош,— почему-то не захотелось матери, чтоб я стал еще красивей.

— Так уж, мама, хочется тех галифе...

— А дубового сала или березовой каши не хочется? Лучше вот сбегай бурьяну нарви.

— Тогда галифе сошьете?

— Тебе как шить: поперек или вдоль спины?

— Разве ж галифе на́ спину шьется...— еще не сдаюсь я.

— Можно и на спину, лишь бы выдержала,— насмешливо и грустно говорит мать.

Видно, мода не очень волновала ее, и я со временем смирился, что разживусь на галифе, когда буду иметь в руках ремесло и копейку. И вдруг такой праздник перед самым рождеством! Просыпаюсь утром, бросаюсь к одежде — и сам себе не верю: на весь наш сундук раскапустились галифе, и не просто из полотна, а до синего блеска накрашенные бузиновым соком. Такие галифе издали могут сойти за покупные! А черные завязки на них из всамделишной чертовой кожи, которая даже взрослым идет на праздничные штаны.

— Ну, как оно, сынок? — оборачивается от печи мать.

— Ой, спасибо, мамочка!.. Как же вы без мерки? Узки будут — растянем, широки — подошьем, длинны — на вырост пойдут.

— А что там мерить в тебе — шкурку с дыркой?

Вот как тогда в селе смотрели на моду: главное было — и в одежде и в обувке — крепость.

— Примерить можно?

— Да одевайся. Сегодня в них и в школу пойдешь. А потом, если захочешь, кому-нибудь вечерю снесешь.

— Я к дядьке Себастьяну пойду.

— Ох, и надоедаешь ты ему!

— Это я слышу только от вас, не от него.

— Можно и к дядьке Себастьяну. Одевайся.

Если б вы знали, как приятно зашелестели галифе в моих руках, как повеяло на меня весенней мятой, а тесемки зашевелились, будто живые! Надел я галифе, сразу подрос и похорошел в собственных глазах.

— Ну как, мама?

— Да, кажется, ничего. Только словно бы одна галифина немного меньше получилась.

— И правда, меньше.

— Так я подрежу бо́льшую.

— Э, нет, еще снова не угадаете! Лучше я меньшую буду понемногу растягивать.

— Растягивай, если нет другой работы.

Пока мать готовила королевскую еду — картошку в мундире,— я старательно возился с галифе, растягивая их и пальцами снаружи и кулаком изнутри. То, что они были пошиты немного не так, не очень волновало меня.

В школе мои галифе отметили и сторож, и школьники, и учительница. Школьники приветствовали новую одежду смехом, разными выкриками и подняли меня на «ура», учительница улыбнулась и одобрительно кивнула головой, а сторож назвал меня кавалером и на какое-то время затмил мою радость. Это ж надо выдумать такое паскудное слово! Зато Люба просто ахнула, когда увидела меня.

— Прямо как городские!

— А чего ж,— загордился я, поправляя меньшую галифину.

— Ты в них на каток, наверное, не пойдешь?

— Пойду.

— И не побоишься запачкать?

— Пустое! — говорю так, словно каждый день хожу в обновках.— Ты придешь на леваду?

— А дашь коньки?

— Если очень попросишь, дам, а то кто ж будет лед пахать носом?

— И чего б это я задавалась в тех галифе! — съязвила Люба и убежала к девчатам.

После школы, выбрав подходящую минутку, я сразу же махнул на каток. А идя по селу, мотал незастегнутой свиткой, чтоб все видели мои галифе. Теперь я понимал Юхрима Бабенко, который любил похвалиться своей австрийской и английской одежкой.

Люди замечали обновку, говорили, что она очень идет даже такому сорванцу, как я. А меня гордость все поднимала и поднимала вверх, я уже залетал в те времена, когда буду учителем и дорасту до суконных галифе. Что тогда скажет наш сторож?

На катке уже шумно, как на ярмарке. И как только тут не выкручивается малышня, на чем она только не скользит, кроме настоящих коньков! Самоделок таких теперь уже нигде не увидишь. И всем весело и привольно. Если кто упадет, его тут же покрывает беззаботный смех.

Я встаю на свои фасонистые, опоясанные проволокой коньки и резко отталкиваюсь острым шпеньком. Подо мной пискнул лед, а в ушах отозвался ветерок.

«Здоров, разбойник!» — в мыслях здороваюсь с ним и снова шпеньком, шпеньком в лед — и вперед, вперед, так чтоб слезы набегали на глаза, а ветер оставался сзади. Попробуй догони! Только и твоего, что за полу свитки подержишься!

А лед сегодня, кажется, наигрывает на скрипке, и такой он после большой оттепели чистый, что под ним видна печаль затопленного ивняка и трав.

— Михайлик, Михайлик, го-о-о! — певуче прозвенел около верб Любин голос.

Ой, какая ж она красивая сегодня в новенькой юбчонке, сачке[1] и большом терновом платке! Я поворачиваю к тем вербам, у которых годы уже выели середину, а Люба спешит мне навстречу.

— Ишь какая ты сегодня!

— Какая? — радуется, играет глазами и стесняется девочка.

— Праздничная.

— Так ведь сегодня свят-вечер заходит. Мама даже дала мне свой платок, видишь, какие на нем цветы? —

[1] Женское полупальто.

и хвалится и боится, чтоб я, чего доброго, не посмеялся над ней.

Платок и правда красивый: на черном поле, будто на куске самой селянской доли, так зацвели красные маки, что совсем заслонили черную печаль.

— Тетка Василина тоже повязывалась им, когда ездила петь в театр. Ой, ей так плескали ладошками, так плескали... Ее даже в газете в этом платке напечатали.

— В этом? — Сразу дорогим и волшебным становится для меня платок, который столько вобрал в себя огней и взглядов.

— В самом деле, чудо, а не платок.

— А как теперь теткин дядько?

— Сначала тайком горевал, а теперь гордится, а уж любовь показывает,— когда женихом был, такого не было. А кое-кто подкусывает его. Я немножко покатаюсь на твоих. Можно?

— Только не упади.

Люба махнула рукой и степенно сказала:

— Разве обойдется без этого? — Она неуверенно встала на коньки, ударила о лед шпеньком, а ноги сразу пошли враздрай.

— Ты б их веревочкой спутала,— подкусил я, а Люба вместо ответа высунула кончик языка.

Я засмеялся.

— Ты чего? — удивилась она.

— У тебя и язык темный, как лицо, а я раньше не замечал.

— Хи-хи-хи,— слетела с коньков Люба и схватилась руками за живот.— Обрадовался, пустомеля!

— Чего ж это я пустомеля?

— А чего выдумал такое?

— Разве я виноват, что у тебя язык черный?

— Это мы сегодня ели пареную чернику — и у всех, даже у батька, почернели языки. Научишь меня кататься?

— Лучше подальше,— с опаской глянул я на то место, где кишела детвора. Не очень хотелось, чтоб подняли на смех.

— Можно и подальше.

Меж вербами и лозами я помчал на коньках к той Медвежьей долине, где около мостка одиноко маячит хуторок и где мы с дедом находили вьюнковые и щучьи места... Эх, дед, дед, кто мне теперь смастерит ветрячок, кто посадит около его крыльев молодого лебеденка?..

Я остановился на круглячке того плеса, где мы с де-

Мы поймали самую большую щуку. Тут лед был так тонок, что слышно было, как под ним тихонько журчала и перекручивалась с берегом вода. А на берегу, словно седовласые деды, стояли заснеженные стога; перехватывая солнце и ветер, они тихо-тихо звенели и стряхивали слезы на снег.

— Михайлик, а тут не страшно? — подбежала запыхавшаяся и раскрасневшаяся Люба.

— Чего тебе страшно?

— Тут вода совсем живая. Видишь, она дышит?

— Ничего, такой вес, как у тебя, лед выдержит. Вот вставай на коньки.

— Я немного дальше!

— Зубами стучишь?

— Что ни говори, а стра́шновато!

Люба встала на коньки подальше от течения, я взял ее за руки и, двигаясь задом наперед, потянул за собой.

Если ноги у нее разъезжались, я останавливался и учил, как надо держаться, потом снова тянул за руки. А когда это мне надоело, забрал коньки, присвистнул и помчался, как мне хотелось: с такими выкрутасами, что вокруг затанцевали стожки и вербы. Ветер ловил меня, а я — его, и неважно, что набегали слезы на глаза: в них горела отвага.

— Ты прямо как метелица кружишься! — восторженно сказала Люба и затанцевала на льду, и запрыгали красные цветы. А я после ее слов, как дьявол, завертелся вьюном, вывернулся на ясень и снова помчался к седоголовым стогам. И вдруг подо мной заворчал, прогнулся и треснул лед, на нем поползла ослепительная паутина, сразу подпрыгнул вверх берег, а из глаз стали выпадать солнце, стога и вербы. Вода обожгла меня, как пламя. К счастью, руки мои зацепились за лед, и я в один миг, сам не знаю как, очутился на берегу под вербой.

Со свитки, а главное, с галифе зажурчали ручейки, а в сапогах зачавкала вода. Затуманенными глазами я увидел полынью, трещины вокруг, игравшие с солнцем, и мой одинокий, прибитый к берегу конек. Растерявшись, я не знал, что делать, стал вытирать рукой лицо, а непослушные зубы в это время выбивали противную чечетку.

— Ой, Михайлик, ты не утонул? — подбежала перепуганная Люба. С ее щек сошел румянец, а глазенки совсем округлились.

— Да, кажется, не утонул,— попробовал я бодриться, но из этого ничего не выходило.

— Сейчас же разувайся! — приказала Люба.

Я послушно сел на горбатое корневище вербы, выступавшее из-под снега, а Люба обеими руками вцепилась в сапог, стянула его и вылила воду. Когда я снова обулся, Люба потащила меня в село.

— Побежим к нам, огородами совсем близко. И твои не узнают.

А у меня в глазах уменьшаются и вырастают цветы на ее платке. По берегу, а потом огородами помчались мы в село. Уже неподалеку от Любиного дома я заколебался:

— А что скажут твои?

— Батько сейчас в лесу, а мама скажет, чтоб ты лез на печь и не горевал.

Совсем запыхавшиеся и обессиленные, добрались мы до Любиного двора, посреди которого стояла лесная коза. Увидев незнакомого, она, как тень, метнулась и скрылась в сарае. Как только мы раскрыли дверь в хату, нас обдало запахом сена, узвара, свеженспеченного хлеба и яблок. «Кому святой вечер, а кому грешная купель». Синий, замерзший, останавливаюсь в уголке у окна, а ноги сами начинают прелагельски выбивать дробь.

— Ой, горе мое, что с тобой, дитя?! — словно крыльями, махнула белыми в цветах рукавами смуглая моложавая женщина, на миг застыла посреди хаты и испуганно спросила Любу: — Вы в ополонку попали?

Потом цветы на ее рукавах опали, охватили меня. Я очутился посреди хаты, оставляя за собой грязные следы.

С печки выглянуло и от такого дива заплакало привязанное дитя. Вы, верно, не знаете, как тогда привязывали малышню? Непрестанный труд научил наших отцов и матерей делать это просто и мудро: в матицу[1] ввинчивалось кольцо, к нему цепляли веревку, конец ее закидывали на печь и так привязывали ребенка, чтоб он мог гарцевать по всей печи, но не упасть с нее.

Тетка Оляна ловко стащила с меня свитку, сапоги, сорочку, и я не успел опомниться, как очутился в полутьме на печи.

— Скидай, хлопче, штаны и насухо вытрись полотенцем.

Стыдясь, я сбрасываю свои теперь жалкие галифе. Тетка Оляна пугается.

— Ой, пропали ж твои ноженьки, дитя! Что ты будешь делать на белом свете? — заголосила она и рукавом с цветами прикрыла лицо.

---

[1] Балка, которая поддерживает потолок в здании.

Глянул я на свои ноги и тоже перепугался: они были темными, даже черными. Вот что делает с человеком мороз! И так мне стало жаль себя, что веки сразу набухли слезами. Я вытер их рукой, и тетка Оляна, кусая губы, осторожно провела полотняным полотенцем по моим ногам.

— Не болит?

— Разве я знаю?

— Задубели, не чувствуешь, видно, их? — Тетка еще провела полотенцем... и случилось чудо: на моих ногах появились белые полосы.

Я глянул на тетку, она на меня, она засмеялась первой, а за ней, а потом хихикнула Люба, и даже малое пискля удивленно сказало «а».

— Ой, горе мое, а я, глупая, в темноте и не поняла, что это с твоих штанят бузина облезла! — Около теткиной головы запрыгали цветы, она сама стала похожей на цветок, а в глазах не уместилась радость и начала стекать слезой.

— Ну чего вы, тетечка, плачете?

— Оттого, что столько страху было! Ох, разбойник ты, разбойник, где только на тебя лоза растет? Чувствуешь теперь ноги?

— Ну да! — нагнул голову, словно прислушиваясь к своим ногам.

— А ну давай растирать, чтоб и мороз, и лихоманка, и простуда разбежались. Подожди, я их еще праздничной горилочкой натру. От нее запищишь у меня, как бьюн.

Я и правда попискивал, а тетка после растирания еще и ущипнула меня.

— Чтоб был здоров и не горевал!

Потом она бросила мне кожух, а сама взялась за мои сапоги, свитку, сорочку и галифе, успевая и на тесто поглядеть, и метнуться к печи, и набрать в утюг угольков. Из погреба принесла меду и с ним в руках цыкнула на куропаточку, которая подбиралась к кутье. Куропаточка ответила «чир-хик» и расставила крылья. И тут тихонько-тихонько вошел дядько Сергей, у которого были темные переспелые волосы, темные тяжелые глаза, темная душа и серебряный ангельский голос.

Мне и до сих пор непонятно, как такой голос, что в церкви подымался к самому богу, не мог смягчить дядьковой злобы, снять копоть с его сердца...

Дядько Сергей, не здороваясь, присел перед куропаткой, а та, словно чуя недоброс, забилась под кровать.

— Хорошенькое мясцо! — Что-то дикое мелькнуло в узких, прикрытых веками глазах.— Оляна, продай свою куропаточку.

— Я ж тебе говорила: не продам.

— Не понимаю: ни себе, ни людям.

— Не все ж, Сергей, надо сжирать. Наша куропаточка — детям радость.

Тени пробежали по лицу дядьки Сергея.

— Нет теперь радости на свете,— начинает он мерять хату своими потрескавшимися сапогами.— А где ж Яким?

— В лесу.

— Даже перед свят-вечером? — удивляется худое доброе лицо дядьки Сергея, и тут он замечает меня.

— Выгреваешь злыдней на своей печи?

— Тебе все неладно! И шипит и шипит день и ночь! — возмущается тетка Оляна.— Если ты, нелюдь, враждуешь с Панасом, так что имеешь против ребенка?

— Может, христосоваться прикажешь с ним? — прощивает меня таким взглядом, будто в нем и правда дневала и ночевала та сама злоба.

— Ни, темная душа, и хоть на детей не рычи, тебе, вижу, только хвоста не хватает!

— Зашипела, как яичница на сковороде, родня называется,— нахлобучивает на лихие брови шапку, гордо выносит из хаты свои потрескавшиеся сапоги и так хлопает дверью, что сыплется побелка.

— Ох, и человек! Чтоб тебе пусто было! Вы, дети, не обращайте на него внимания — не на таких держится день.

Из разговоров дядьки Себастьяна и отца я уже знал, что только ночь держится на таких, как дядько Сергей... Он притихнет со временем, пригнет голову и душу, чтоб потом нажиться на людском горе в страшные времена...

В революцию дядько Сергей водился с бандитами, хотя сам и не был в банде. От них он получал награбленное добро, а им поставлял продовольствие и самогон.

Однажды красные казаки накрыли его с бандитами и лесом повели в Летичев. То ли с перепугу, то ли от тоски дядько Сергей запел. А когда кончилась песня, к нему подъехал немолодой командир и приказал:

— Иди домой!

— Как домой? — не поверил тот.

— Ногами... Иметь такой голос — и с бандитами водиться! Пел для них, теперь пой для людей!

В тот же день дядько Сергей очутился дома, отлежался

в клуне, а на другое утро уже с насмешкой рассказывал соседям свое приключение.

— Подумать только: запел песню, и красные оправдали меня. Не знал, что у них глаза на мокром месте... Обманывал я женщин, обманул и новую власть...

В хате стало тише, тетка Оляна принялась молча раздувать утюг, пальцем тронула его снизу, и вот уже мои галифе зашипели, и пар пошел от них. Еще одна напасть отлегла от сердца.

— Ты не горюешь? — через некоторое время заглянула на печь тетка Оляна и подала мне одежку.

— Нет.

— А обедать будешь?

— Нет.

— Почему так загордился? Не обращай внимания на эту болтовню: такие всегда цепляются к живому. Люба, давай ложки!

Хоть я и отнекивался, тетка Оляна подала на печь миску с постным борщом, в котором среди сморщенных грибов красовался стручок красного перца, и приказала:

— Ешь и не горюй.

Я посмотрел на Любу и засмеялся.

— Ты чего, оглашенный,— сказала тетка то самое слово, которое я слыхал только от своего дедуся,— ну говори!

— А сердиться не будете?

— Нужна мне, как же, такая печаль.

— Вы чего-то каждый раз говорите, чтоб я не горевал...

— Разве? — сначала удивилась Любина мама, а потом вздохнула и пояснила: — Ведь что для меня, если подумать, главное на свете? Чтоб у людей была доброта в сердце, хлеб на столе и не было горя.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я выскочил из беды, как воробей из проса: даже мать не догадалась, где сегодня побывали мои галифе. И хоть они немножко посветлели, невелика беда: разве не выберу я минутку, чтоб подкрасить их бузиновыми чернилами? Добра этого мне не занимать: еще с осени заготовил полную граненую бутылку. После такого производства батько с месяц не мог налюбоваться моими руками и все говорил, что они похожи на облезлых кротов.

Зато теперь, зимой, я блаженствую, словно кум короля; хватает чернил и для себя и даже на обмен — уже три

перышка вымениял: восемьдесят шестой номер, брюхатень-кое — ложечкой и рондо. Правда, я их тут же проиграл хитрому Цыбуле, но не так по ним горевал, как по тем, что батько покупает в самом Литине.

Мне даже немного смешно, что ни батько, ни мама, проходя мимо моих галифе, ничего не подозревают. А может, это потому, что у них сейчас немало забот: приготовления к свят-вечеру. Мать и варит, и хату мажет, и прибирает. Она ткнула нам с отцом шапки в руки, глазами показала сперва на кочергу, потом на дверь и вытолкала из хаты.

— Идите, помощники, и до первой звездочки не смейте приходить.

— Вот это почет мне от родной жинки,— делано вздыхает батько, натягивая на уши большую, как стог, заячью шапку. Она становится очень красивой, когда встречается с солнцем и ветром: солнце придает блеск, а ветер меняет и меняет цвет.

Мы с отцом выходим в клуню, где пахнет прирожденными снопами и сеном; там, как войско, стоят в два ряда обмолоченные снопы, над ними с перекладин свисают гроздья рябины, а над перекладинами резвятся воробьи. Им совсем хорошо у нас — и еда есть, и холод не страшен: когда прихватит мороз, летят в печную трубу и греются сколько вздумается. На радостях воробьи так вымазываются сажей, что потом, когда вылетают во двор, даже коты теряются: что за птица появилась знмой?

— Ну как, сынок? — косится батько на полку, где лежат пила и топор.

— А как же! — говорю я весело, потому что батько страх как не любит ни кисляев, ни кислого слова.

— Пилка, значит, вместо катка?

— Идет! — отвечаю беззаботно, поглядываю на бо́льшую галифину и выдавливаю усмешку.

— Молодец! — хвалит батько и наводит на меня оба глаза — один прижмуренный, со сплющенными бесенятами, другой с бесенятами во весь рост. Когда батько так смотрит, обязательно жди каверзы. Дождался и я. Отец по-портновски смерил меня с головы до ног, а потом с ног до головы, глянул на дверь и тихонько спросил:

— Здорово напугался?

— Напугался? Когда?

— Уже и забыл?

— Вы про что?

— Про то, как ты в ополонку вскочил.

— Так вы знаете? — невольно вырвалось у меня. Я с перепугу онемел, смешался и облизал губы, которые тут же запеклись.

— Знаю... Ну чего стал как вкопанный? — Батько обеими руками обхватил меня, оторвал от тока и прижал к себе.— Берегись же, разбойник, берегись. Что б мы делали без тебя? — Теперь в отцовых глазах я вижу не беспят, а печаль и тепло.

— Ой!..

— Ну что? — грустно спросил он и коснулся губами моей брови, той, что всегда почему-то забирается на лоб.

— Ничего,— еле прошептал я и с благодарностью теснее прижался к батьковой груди. Я хотел что-то хорошее-хорошее сказать ему, но не нашел таких слов и только вздохнул.

— Ничего у тебя не болит?

— Нет.

— И в сапогах не квакают лягушата?

— А где ж им взяться зимой? — не сообразил я сгоряча.

— Спрашиваю, не мокрые ли ноги: их надо держать в тепле.

— Не мокрые... Мама знает про это?

— Не знает. А то хватило бы слез и на свят-вечер и на рождество. Берегись же теперь, сынок... Так поработаем для мамы? — Он опускает меня на землю.

— Поработаем! — отхожу я, хватаюсь двумя руками за топор, а батько берет пилку, и мы, двое мужчин, степенно идем делать делушко... И если б вы только знали, как хорошо тогда пела-звенела пилка, а еще лучше перекликалось с топором эхо в саду!

Вот и вечерняя звездочка встрепенулась за соседским двором, где поскрипывает и поскрипывает над колодцем журавль. Над хатами уникаются пахучие дымы, на улицах стихает гомон и скрип саней, а по снегам к каждой хате бредут фиолетовые тени.

В сачке и праздничном платке выходит мать, на лице ее торжественность, мягкость и ожидание сказки.

— Где вы, хозяева? — тихо, ласково зовет она нас.

— А зачем мы тебе? — будто удивляясь, откликается от дровяного навеса батько.

— Просим дорогого мужа и тебя, сынок, в хату,— с такой ласковой улыбкой, с такой добротою кланяется нам мама, что хочется подбежать к ней и поцеловать руку.

— Говоришь, «дорогой муж»? А кто недавно грозил нам кочергой? — с деланной строгостью допытывается батько.

— Так это ж любя! А кого любишь, даже кочерги не пожалеешь, — играет мать расцветшими очами и дает нам дорогу.

— Ты смотри! — покачивает батько головой и по дороге в хату почему-то задерживает маминну руку в своей. Чудные эти взрослые!

Хоть убогая-убогая наша хата, но в этот вечер и она похорошела, стала богаче. Бедность ее скрасили и вышитые полотенца, и гроздья калины, и душистое сено в красном углу, и праздничный стол. На нем сейчас лежат три хлебины, комок соли, высится столб гречневых блинов и стоят с разными постными блюдами те праздничные расписные миски, что желают добрым людям и здоровья, и счастья, и красного цвета.

Батько первый идет за стол, оглядывает все яства, от кутьи с маком до миски с бобами, глазами благодарит мать за ее старания... А каким торжественным он становится, даже не верится, когда выносит корове попробовать каждой еды, стопленной на свят-вечер! Вот он взял горсть бобов и удивленно сказал:

— Глядите-ка, не бобы, а рубли.

Заглянул я в миску — и правда, бобы в ней, как серебряные монеты.

Но самая торжественная минута пришла тогда, когда батько с бичом от цепа стал на пороге под ветками ясеней, на которые поспешались звезды. Он поглядел в заснеженную даль и тихо позвал:

— Мороз, Мороз, иди к нам кутью есть!

Я застываю около отца и не верю, но немножко и верю, что на дороге, высвечивая туманом бороды, может появиться с мешком за плечами дед-мороз и подойти к нам. А кругом так тихо, что слышно, как в ясеневых ветвях дышат звезды и своим дыханием стряхивают и стряхивают серебряную изморозь.

— Мороз, Мороз, иди к нам кутью есть! — уже смелее зовет батько.

Но и после этого ни на улице, ни на огороде не слышно шагов дедугана.

Тогда батько третий раз позвал его, да он, видно, задержался на какой-нибудь лесной или степной дороге. И тогда батько уже грозно наказал ему:

— А не идешь, Мороз, так и не иди к нам и не ходи

на рожь-пшеницу, всякую пашницу! Иди лучше на крутые горы, на моря, на леса, нам беды не делай!

Потом отец зовет серого волка — он тоже не спешит, у него свои заботы в лесах. Не торопились на кутью и черные бури да злые ветры. И батько заклинал их:

— А не идете, черные бури и злые ветры, на вечерю, так ступайте в безвесть, хлеба не сдувайте, снопы не валяйте, соломы с крыш не срывайте!

Затем он настежь открывает наши скрипучие ворота: может, прибьется добрый человек с дороги и погреет душу теплыми яствами. И только после этого мы идем вечерять.

Теперь за столом я и не пискну, прислушиваясь к разговору и надеждам родных. Эти великие надежды на хлебовый, на рой золотой, на счастье во дворе, на рогатую и мелкую скотину в загоне сходятся и сходятся в нашей хате, и в самом деле начинаешь верить: настанет время, когда хозяин на току будет звезды веять, хозяйка в избе золото прясть, а седые златорогие волы потянут за собой серебряные плуги.

Но вот на улице послышались голоса колядников. Я первый выбегаю во двор. Колядники уже подошли к хате тетки Дарки — звездоноша, береза и мехоноша впереди, а коза и дед в страшной маске сзади. И чего только не вытворяют коза и вертлявый дед, пугая взрослых и детей! Вот зазвонил звонарь — и все притихли, столпились около окон, а по зеленоватым и синим снегам, сколько света видно, полились, зазвенели молодые голоса, прогоняя недолю из вдовьей хаты:

А чи вдома, вдома та бідна вдова?
Нема вдома — пішла до бога,
Бога благати — щастя прохати:
— Ой, дай, боже, два лани жита,
Два лани жита ще й лан пшениці,
Лан пшениці — на паляниці,
А ще гречки — на варенички...

Как ни убога наша хатка, но и ей колядники напели счастье, посулили, что в нашем дворе будут стоять и месяц и ясные зори...

Эй, эй, куда ушли те далекие годы. Одних колядников забрали войны, других — сырая земля, третьи стали дедами, а до сих пор верится, что в твоем дворе, рядом с тобой, стояли по одну сторону месяц, а по другую — ясные зори...

По всему селу порасходились колядники, к каждой хате звездоносцы прислоняли рисованное солнце, напоминая людям, что уже настоящее солнце смилостивилось над

землей. А около заречья отозвалась седая старина, когда тучи врагов обкрадывали наше солнце и землю:

То не з моря тумани,
То із коней пара...

От черной погони летят из Туретчины, из Неметчины, из Татарщины. Дунай перескакивают казацкие кони, летят, не замочив в воде ни копыта, ни казацкого стремени...

Несу я вечерю дядьке Себастьяну, прислушиваюсь, как за плетнями потрескивает морозец, приглядываюсь, как в тенях и дремотных лунных лужицах убаюкиваются хаты, вбираю в себя колядки, думами и взглядом добираюсь до тихого Дуная, где гуляли казаки. И так хорошо, так радостно у меня на сердце, будто и я с казаками ломал неволю, освобождал добрых людей, чтоб возвращались они на тихие воды, на ясные зори.

А на дороге в самом деле слышится перезвон оружия и стремян, стучат конские копыта. Я в изумлении оглядываюсь. В прозрачной темноте мглисто вырисовываются фигуры всадников. И вот мимо меня, пригнувшись к гривам коней, птицами пролетели на Литин красные казаки промчались тем старым Чумацким Шляхом, что течет прямо в месячный полусон.

То не с моря туманы, то от коней пар обдал меня теплом. И хорошо, и чудно, и радостно становится мне, маленькому, на этом свете. Я долго смотрю вслед красным казакам, раскачиваю узелок с вечерей и уже не знаю, откуда они взялись — с тихого Дуная, из-под синего Буга или из звездной пыли?..

Вот так и сходятся песня и жизнь, сумерки минувшего и сегодняшний рассвет. А надо мной вечер горстями шаляет и сеет зори, а рядом арфами звенят подмороженные вербы, а подо мной голубые тени играют со снегом, что искрится вблизи и туманится поодаль, как пар от коней. На леваде перекликаются куропатки — и они спешат в село на свой свят-вечер у какого-нибудь стожка или клуни.

Задумчивый и радостный, подхожу я ко двору дядьки Себастьяна. И тут ворота распахнуты настежь: может, забредет погреть душу прохожий. Я смотрю на залитую лунными бликами хату и в изумлении останавливаюсь. Что ж это творится? На хате, в заснеженном монашьем гнезде, где летом жили аист с аистихой, теперь стоит одинокий аист и смотрит на восток.

«Протри-ка глаза,— говорю сам себе,— над тобою, пожалуй, подшутил ночной призрак».

Я в ярости протираю глаза, снова кошусь на гнездо, и в нем все-таки стоит длинноногая птица. Да откуда ж в эту пору взялась и как не погибла от мороза? Тихонько, чтоб не спугнуть ее, крадусь чуть не до самой березки и только теперь смекаю, что это деревянный аист. Разве ж и в этом не узнаешь натуру дядьки Себастьяна? Захотелось чем-нибудь удивить и порадовать людей, особенно детвору, вот и поставил птицу в гнездо, пусть, что она деревянная,— все равно порадует чей-то глаз и бросит в душу хоть капельку весеннего солнца.

И пока я любуюсь птицей и переселяю мыслями в весну, на те лужки, где на лапках мяте, зелени и солнце вытанцовываются полотняные дорожки, меня тихонько окликает знакомый голос:

— Михайло, дитя, это ты?

— Конечно, я, дядько Себастьян,— задрожал мой голос от радости и от благодарности тому, кто первый, после мамы, наклонил над моей доверчивой верой, добытые то ли с неба, то ли из доброго сердца.

— Вот и хорошо! — улыбнулся дядько Себастьян из сеней.— А я, слышишь, второй раз выхожу тебя встречать.

— Ну да? — верится и не верится, и даже немного страшно: за что мне, сорвиголове, перепадает столько любви и от дядьки Себастьяна и от других добрых людей...

— Правда. Уже и на улицу хотел, не напал ли на тебя, думаю, Мороз или серый волк.

Рослый, красивый, горбоносый, он подходит ко мне, а я ему кланяюсь посреди двора, где ветерок подметает серебро, а деревянный аист зовет весну.

— Батько просили, мама просили, и я вас прошу на вечерю,— говорю тихонько и передаю ему завязанные белым платком горшки-близнецы с теплым узваром и кутьей.

— Спасибо, спасибо, дитя.— Дядько Себастьян берет узелок, а меня обнимает рукой, что всю жизнь орудовала косой или топором дома, саблей на войнах. Работа и война выбили на ней снизу глубокие борозды и мозоли, а сверху вылепили жилы толщиной с мой палец.— Это правда, что ты под лед провалился?

— И вы знаете?

— Я уже на каток ездил, хотел было и к вам заехать.

— Вот напугали бы маму,— опять страшно стало мне.

— Смотри же, хлопче, смотри! — Дядько Себастьян еще теснее прижимает меня к себе.

— Буду смотреть! — говорю я уже весело и переношу другое: — А где вы такого аиста раздобыли?

— Славный?

— Славный!

Дядько Себастьян задирает вверх голову, смотрит на аиста и начинает смеяться. Он очень хорошо смеется, собирая на ресницы, глаза и зубы лунное сияние.

— Это мой друг вырезал из осины, а я украл у него

— Вы украли? — ужаснулся я.

— А что оставалось делать? Продать он не хотел, так я потихоньку за аиста — и в мешок. Покрасуется у меня несколько дней, и отвезу обратно. Пошли в хату.

Около сенных дверей стояли две каменные плиты, их не было еще несколько дней тому назад.

— Что это такое, дядько Себастьян?

— Какая-то старина. Вот видишь, чья-то жизнь выбита на них,— проводит он рукой по полустертым людям и коням — Один глупец искал клад, выкопал их из старой могилы и положил перед хатой вытирать ноги! До сих пор не перевелись мастера об чью-то жизнь ноги вытирать!.. Отобрал я эти плиты — отвезу в Винницу, может, сгодятся добрым людям.

Мы заходим в хату, где в тепле смешались запахи сена, хлеба и свежих липовых ложек.

— Вот и гость к нам пришел, Михайликом звать,— знакомит меня председатель комбеда с дядькой Стратоном, бывшим министром крестьянско-бедняцкой республики, в которую входило три села, потом с известным на всю округу Федоренко (его семья составляет целый духовой оркестр), с кобзарем Левком и даже со своим батьком, который стоит как раз посреди хаты в белой сорочке и белых штанах, словно разгневанный пророк. Брови его поднялись вверх, чуб вздыбился, как на ветру, а губы опустились вниз — к дождю.

Я догадываюсь, что старый снова почему-то ссорится с сыном и даже на свят-вечер нашел время для грызни. А потом, глядишь, к соседям пойдет жаловаться, что его сякой не такой разумник не имеет в мозгах масла. Старик до сих пор не может забыть, что в революцию сын взял в экономии не корову или лошадь, а пианино, и всегда, проходя мимо этой панской забавы, презрительно цедит «у-у-у»... и пальцем шпыняет ее в зубы.

Отец Себастьяна не очень ласково смотрит на меня и бормочет:

— Злыдни всех стран, соединяйтесь!

И в хате все, кроме него, смеются.

— Что, я, может, что-то смешное сказал? — удивляет-

ся старый, и дивятся под седыми бровями его пресиелые, будто изморозью прибитые глаза.— Нет, пойду я все-таки домой, не компания вы мне! — хватается за шапку и задубевший кожух, что лежат на сундуке.

— Да чего вы и куда вы, тато? — Дядько Себастьян рукой придерживает смех.— С вами так всем весело. Ей-богу, давно так не хохотал.

— Трясця твоей матери! — гневается старик.— Насмешник всегда найдет, чем повеселиться, даже если пост у него на копейку. Вот посудите, люди добрые, как мне глядеть на такое! Привозят ему горожане целую миску грошей, да все новенькие, блестящие, как молодые очи, выдают их на стол — стол поет! Еще и магарыч и закуски городские ставят. А он, дуралей, возвращает деньги и все взятки-надсдки, а пияницу оставляет себе. Так разве ж я виноват, что на самехонькой середине его ума расселась дурость?! Если б не она, имел бы человек денег и на корову, и на кабана, и на варево, и на приварок.

— Так то ж, батько, деньги от нэпмана.

— Ну и что?! Не от черта ж...— Старый выпил чарку, поморщился и загоревал: — Нет, что-то я теперь не то что людей, а и своего баламута никак не пойму. И птица на серебряную сетку летит, а он, если б даже нашел перо жар-птицы, отдал бы в фонд.

— Революция, дед, сделала вашего сына таким,— осторожно отозвался умноглазый дядько Стратон.

Но и это не утешило старого.

— Нечего языком болтать! Революция — великое дело. Так чего ж это он дальше в революцию не идет?

— Это ж как вас, дед, понимать? — На округлом лице Федоренко удивляются круглые, обведенные темным весельем огнем глаза.

— А так: давали ж ему в самой Виннице службу, давали и жалованье, и квартиру с шпалерами давали, иди углубляй революцию! А он учудил, захотел, видно, свет удивить: остался в селе в одной кавалерийской шинели и до сих пор по всем лесам гоняется за бандитами. Мало свинца наелся, новой порции ждет. С кем я тогда век доживать буду?

— Ну не надо, тато.— Дядько Себастьян ласково, с доброй усмешкой поглядел на отца.— Я ж вам говорил: та служба мне не по душе.

— Вот видите, ему та служба не по душе! еще больше распалился старый.— А такой, как Юхрим, с одним задом на два праздника поспевает, чтоб покласть свое

«соображение ума». Так что ж это получается: Юхрим ближе к революции сядет, еще и тебя локтем или коленом отпихнет от нее? Вот его, от большого ума, ты зовешь кар-карьеристом? А на кого ж он делает это кар-кар? На тебя ж! Тогда кто из вас дурень?

— Да цур ему, этой балаболке,— отозвался кобзарь. Его вдумчивые, с грустью на донцах очи глядели куда-то сквозь кровлю, рука коснулась басов, они отозвались печалью, а струны повели мелодию. И хата уже стала не хатой — грустной степью с той дорогой, что и тебя и душу твою повсдет до самого неба, с той чайкой, что под крыльями прячет утренний туман, а в сердце — материнскую тоску. А над печалью струн уже плещется грустный голос дядьки Себастьяна:

Ой горе тій чаєчці,
Чаєчці — небозі,
Що вивпла діточок
При битій дорозі...

К дядькиному низкому запеву припал тенор Федоренко, он пошел, пошел над хатой, над селом, над степью к той битой дороге, где человеческой печалью тужит чайка-бедняга и где крылья ветряков перелопачивают ее тоску и ветер.

В этот праздник двух голосов, один из которых вел мелодию низом, а другой поднимал вверх, вплетался и стихал третий — кобзарский, битый морозами и метелицами, сеченный дождями и громом.

И вдруг, когда песня уже замирала, старый кобзарь горько вздохнул, уронил седую голову на стол и заплакал. Слеза упала на струну, и она откликнулась болью. Все бросились к старику.

— Что с вами, дед Левко? — наклонился к нему встревоженный дядько Себастьян.

— У каждого свое, сын,— поднял голову кобзарь и пальцем стал вытирать глаза.

— Какая печаль-тоска тебя точит, Левко? — подошел к кобзарю отец Себастьяна.

Оба седые, как молоком облитые, глянули они в глаза друг другу, увидели в них, будто в снах, свои давние годы, свои разные дороги и вздохнули.

— Чего же ты, Левко? — снова сочувственно спросил дед деда.

— Чего? Ты ж помнишь, Виктор, какой у меня был когда-то голос?

— Помню, Левко. Помню его на ярмарках и дорогах, на свадьбах и похоронах.

— Так не жаль мне себя, не жаль тех годов, а голоса жаль... Вот сейчас не вывел его вверх и загоревал, будто кого-то похоронил.

Отец Себастьяна вздохнул, в раздумье покачал головой.

— Вот о чем теперь жалеют люди, может, так оно и надо, может, это тоже революция.— И тихо попросил сына: — Спой мне про те василечки, что всходят на горе, и про тот барвинок, что стелется под горою.

И снова дядько Себастьян повел мелодию своим могучим баритоном, а верхом пошел тенор Федоренко, к ним присоединился подголосок бывшего министра селянско-бедняцкой державы. Один лишь отец Себастьяна, стоя посреди хаты, не пел, он смотрел куда-то вдаль, то ли вспоминал, то ли звал к себе свои далекие годы, далекие василечки, свою жену, что являлась ему теперь только в снах.

— За тебя, Себастьян, за тебя, человече! — поднял чарку бывший министр, теперешний председатель комитета бедноты тех сел, что вставали против гетмана и кайзера.

— Нет, за деда Левка, за голос его, что всю жизнь поднимал вверх и вверх человеческую душу, - горе было б нам, если б душа застряла, простите, около живота.

— А чтоб тебе, выродок! — махнул рукой и впервые в этот вечер засмеялся отец Себастьяна.

— Спасибо, Себастьян, что уважил, ведь главное в нашем деле — душевность, а остальное все — тлен.— По старости лет кобзарь помочил в чарке седой ус, отжал с него самогонку и только тогда выпил остальное.

— Артист! — показал все зубы Федоренко, хотел то же самое сделать, но у него не получилось, он снова засмеялся и спросил меня: — А ты артистом не думаешь быть?

— И чего тебя всегда к артистам тянет? — удивился дядько Стратон.

— Ой, люблю сцену, как свою жизнь! — вздохнул Федоренко.— Иногда как сядешь на той сцене со своими сынами и братами, так чувствуешь: в рай попал, никак не меньше!

— А платят за это хорошо? — спросил Себастьянов батько, и все легли от смеха.— Нет, я все же пойду, не хочу срамиться с вами! — Старый снова подошел к кожуху, но сын выхватил его из рук отца и забросил на печь.

— Побудьте еще, тато, без вас и праздник скиснет.

— Вот скаженный, и что мне делать с тобою? — пробурчал старый, но остался.

— О, еще кто-то к нам! — повернул голову к дверям чуткий Федоренко.

Вскоре вошел старый гончар Демко, около которого на ярмарке всегда собиралась толпа. Одной рукой он придерживал мешок, а в другой сжимал свой прославленный кнут, в выдолбленном кнутовище которого была свирель. Это же надо додуматься, чтоб даже в кнутовище держалась музыка. Видно, издалека пришел человек: на его густых усах позванивали ледяные сосульки. Поздоровавшись, он сорвал их с усов, стер наморозь с дугообразных бровей, бережно снял с плеча мешок, в котором отозвались гончарские сокровища.

— Демко Петрович, опрокиньте чарочку с дороги! — пригласил хозяин.

— Для согрева души и рук не помешает,— охватил гончар костлявой пропеченной рукой глиняную с красным цветком чарку.— Ваше здоровье! Ой!.. С чего ж вы ее, мокруху, на скаженовку перегоняете?

— Это спроси Федоренко! — засмеялся дядько Стратон.— Он с какой-то свадьбы прихватил такого зелья.

Демко Петрович вздохнул.

— Музыка за свою работу получает веселуху, а гончар — желчь.

— Что-то вы такую грустную завели? — удивился дядько Себастьян.— Кто вас обидел?

— Неужели станешь на свят-вечер такое слушать?

— А что делать? Послушаю.

— Ну так мотай на ус. Я, Себастьян, очень понимаю разных и всяких, кому положено ненавидеть нас. Но никак не возьму в толк, с чего это иногда свой своего ненавидит, свой своего поедом ест, свой своему и дорогу и жизнь укорачивает.

— Кто же вам жизнь укорачивает? — насторожилось межбровье и все полатанное ветряными лишаями лицо дядьки Себастьяна.

— Э, много говорить, мало слушать,— нахмурились очи мастера, в которых никогда не затухают отблески гончарных огней.

— Говорите! — настаивает дядько Себастьян.

— А я думаю: мы говорим больше, чем нужно, и больше, чем нужно, верим пустомелям, поэтому они приспособились языком добывать себе мед, а других этим же языком жалить, как гадюки.

— Кто ж вас ужалил?

— Не меня, а мой труд. Это еще хуже. Потому и прилетел к тебе, председатель! — Демко Петрович заглянул в свой мешок, пошарил, вытащил изразец и протянул дядьке Себастьяну.— Взгляни, если хочешь, на мою игрушку.

Мы все потянулись к пропеченным рукам мастера. На свежем обливном изразце из камышей вылетела утка — прямо в зеленый рассвет, к еще невидимому солнышку. Черный глазок птицы доверчиво, по-человечески глядел на нас, а с ее крыла сорвались две капельки воды или росы.

— Боже, как красиво! — застонал кобзарь.

А дядько Себастьян обнял Демка Петровича.

— Вот человек! Взяли меня и перенесли из зимы в весну. Такое чудо из глины сделать!

— Бог Адама тоже вылепил из глины,— вставил словцо Себастьянов батько, и все засмеялись, а он снова посмотрел на печь, где лежал его кожух.

— Спасибо вам за радость,— сказал дядько Стратон.

— В самом деле вы имели хоть капельку радости? — подобрели накупанные огнем глаза Демка Петровича. Он знал, что его работа должна понравиться людям, но хотелось, чтоб они еще и еще раз подтвердили это и размыли неусыпные сомнения, неуверенность, которые больше держатся души творца, чем ремесленника.

— Что и говорить,— даже вздохнул дядько Себастьян, приглядываясь к изразцу.— И как это получается, что так вот и повеяло весною?

Добрая и застенчивая улыбка тронула сморщенные губы гончара.

— Потому что я перед тем, как работать, позвал к себе весну, и зеленые лужки, и синюю воду, и вербы над ней, и солнце над вербами. И когда они обступили меня, руки сами потянулись к работе.

— Не знаете вы цены своим рукам.

— Нашелся такой, что сложил им цену,— печально сказал гончар.

— Что ж случилось?

— А то, что увидел мои игрушки Юхрим Бабенко и обложил их таким налогом, что надо бросать свое делочко.

— Что?! Юхрим обложил?! — сразу взорвался дядько Себастьян.

— А кто ж другой? Своячок!

— Не своячок, а живодер! — нахмурился дядько Себастьян.

— И невдомек паскуде, что я на горшках и кувшинчиках больше б заработал.

— Вы ему об этом говорили?

— И говорил, и молил, и ругался. А он ухватил мою душу, словно тот палач, и потянул ее на протокол, как на виселицу. Такой срам, такое бесчестье бросил на мои годы и труд.

— И никто не помог вам?

— Тогда мне мог помочь или мой червонец в его кармане, или какой-нибудь высший чин.

— Ну так я еще с ним, с гадом, поговорю! Я ему!..— Дядько Себастьян чего-то не договорил, бросился к вешалке и стал торопливо одеваться.

Гости и батько накинулись на него:

— Подожди, Себастьян. Разве же завтра дня не будет?!

— На что он тебе в свят-вечер сдался?

— Для кого-то он станет грешным!

— Сумасшедший, ты что, дитя малое? На кого ж гостей оставляешь? — снова разгневался батько.

— На вас, тато. Развеселите их чем-нибудь.

— Грязня твоей матери, и тебе, задире! Ты что, теперь оболванел или таким на свет явился?

— Тато, угощайте гостей! Я скоро буду! — Дядько Себастьян, как вегер, вылетел из хаты, а я выскочил за ним и прижался к сенным дверям. Дядько это заметил, но ничего не сказал: ему теперь было не до меня. Вот он подбежал к конюшне и вывел коня, которого когда-то отбил у бандитов. Конь тихонько заржал, выгнул шею, и под месяцем росой заискрилась его грива. Дядько Себастьян вскочил на него, пригнулся, что-то сказал, и конь пошел галопом, белая пыль затуманилась за ним.

Из хаты повыходили гости и, не сговариваясь, потянулись на улицу. Над селом небесные мукомолы просеивали звезды и звездную пыль, а по селу все еще сновали колядники, расплескивая счастье.

— И что вы скажете про него? — спросил сам у себя кобзарь.

— Что я скажу? — отозвался дядько Стратон.— У одних душа — птица, что ширяет под облаками, а у других — квочка, которая только на своих яйцах сидит и высиживает не цыплят, а выродков каких-то.

— А что мой Себастьян имеет за свою душу? Одну шинель, одну пиянину и кучу напастей. Говорю я ему: пожил ты для революции, так поживи и для себя.

— А он живет для линии! — засмеялся Федоренко.

— Линии! — передразнил Себастьянов батько.— Какая ж это линия, если один за революцию получает свою порцию свинца, а другой трясет и обтрушивает эту революцию, как золотую яблоню, еще и прикидывается ее хранителем.

От пруда послышался топот копыт. А вот на улице появился и дядько Себастьян. Перед ним, поперек коня, лежал вдвое перегнутый Юхрим Бабенко. Он что-то жалобно бормотал, ойкал, оправдывался, а его длинные ноги время от времени пропарывали снег. Когда возмущенный такой поклажей вороной влетел во двор, дядько Себастьян соскочил на землю и, не церемонясь, потянул за собой Юхрима. Тот, словно куль, упал на снег, застонал, потом поднял голову, пьяными глазами остекленело глянул на нас, удивился и сразу ожил: верно, ожидал чего-то более страшного.

— И вас вот так сюда привезли, как меня? — спросил он и стал правой рукой растирать поясницу, а левой — живот.

Этот неожиданный вопрос развеселил всех, а на Юхримовом лице, привыкшем менять маску, появилось выражение угодливости.

— Вот славного коня имеет Себастьян! Прямо не конь, а золотогривец! Везет же человеку в селе!

— А тебе в городе?

— Тоже никак не обижаюсь на свое официальное государственное положение,— говорит он дядьке Стратону, а сам не спускает скользкого взгляда с председателя комбеда и незаметно делает шаг и другой назад.

— Ты никак удрать собрался? — спрашивает дядько Себастьян, смерив взглядом ноги Юхрима.

— Удрать?— удивляются и глаза, и губы, и фасолевидные ноздри Юхрима.— Это я ноги разминаю. Да с такой компанией все святки, как в раю, гулять буду. Может, подскочить за чем-то таким? — он красноречиво потрогал рукой карман.

— Поворачивай — и в хату. Побеседуем про святошное,— хмуро говорит председатель комбеда.

— Раз просят, так повернем. И чего хмуришься, если в гости привез?

— Лихая година возила б тебя!

— Э, вот это уже выпад! — повышает голос Юхрим, и на его глаза наползают серые пленки.— Привез меня в гости, так угощай, натурально, как гостя, потому что я тоже могу рассердиться: мне ехать поперек коня не очень

удобно было. И не думаешь ли ты, Себастьян, что мы пунктуально разберем это дело в уезде под девизом: «Долой партизанщину и маховскую анархию»?..

— Какую анархию?! — вскипел дядько Себастьян.

— Ну, ту, не совсем культурную.

В хате дядько Себастьян встал против Юхрима и ехидно спросил:

— Выходит, дорвался до власти?

На это Юхрим ответил как по-писаному:

— Имею уважение от инстанций, представителей и газетной хроники. Ты не читал, как недавно про меня было написано в одном органе: «Оратор подробно остановился». Жаль только, что фамилию перепутали: вместо Бабенко почему-то написали Бабий. Корень все равно один, но звучание уменьшили, а укрупнили пристрастие к женскому полу. Как ты на это смотришь?

— Я еще дождусь, когда про такого оратора другое напишут.

— Жди, если есть время, — пожал плечами и озлился Юхрим. — Но не всегда вот так высказывай свое мнение мне первому, потому что я про тебя могу высказаться в кабинете.

— Про твои нахлебничания, доносчик, я хорошо знаю. А ты хоть раз, работая фининспектором, подумал, что оставляешь после себя?

— После себя?.. Пусть над этим вопросом поколения думают! — безаботно ответил Юхрим.— А я для современности, на ее потребу вырываю рубль.

— С мясом?

— Рубль всегда вырывается с болью, со шкурой или с мясом. Это знают все деловые люди. А кто сейчас у нас должен стать пупом земли? Только деловые люди, которые умеют и вырывать и выколачивать рубль.

— Вымахал ты, как дуб, а ума и на желудь не уродило! — сдержал гнев Себастьян.

Теперь Юхрим даже с гордостью посмотрел на председателя комбеда.

— Какой бы ни имел я ум, а опять же теперь не тебе меня учить.

— Посмотрим!

Юхрим с деланным сожалением и с насмешкой покачал головой:

— Ты опоздал, Себастьян, опоздал! Теперь уж я тебя могу учить, как вышестоящая инстанция.

— Таки может,— согласился батько Себастьяна.— Ну ты, Юхрим, дурень, а место имеешь умное.

— Ты узнаешь этого человека? — С трудом сдерживая ярость, дядько Себастьян положил руку на плечо гончара.

Юхрим приосанился:

— Натурально, узнаю, персонально приглядывался к сей необычным и подозрительным игрушкам, персонально обложил их, чтоб меньше собирали вокруг себя несознательных глаз и несознательного смеха. Из моих рук по линии финансов даже родная мама не выскользнет.

— И ты, болван, посмел налогом такую красу обложить?

— Авантюристический вопрос! Что такое перед финансами краса? — возмутился Юхрим, ноздри задрожали, но он сразу же утихомирился, а глаза помаслянели.— За красу всегда и всюду больше платят, так она больше и обкладываться должна. Резон?

— Тебе только дай волю — ты все красивое задавишь.

— И задавлю! Я человек без всяких селянских сантиментов! — все наглей держался Юхрим.— Какая-то уточка или цветочек из моих глаз не выбьет слезу. И надо смотреть на жизнь сквозь призму в историческом разрезе! Ведь что теперь важнее — какие-то красивые, но никому не нужные утки, лошадки или обыкновенные горшки, которые идут на потребности трудящихся рабоче-крестьянского государства? И пусть, натурально, этот рукотворец без соответствующего разрешения не кидается в мечтания, в фантазии, а лепит, что положено лепить из глины,— горшки и макитры, пусть и он поймет: краса служит единицам, а навар — массам!

— Дайте мне кнут! — метнулся дядько Себастьян к скамейке, правой рукой схватил кнутовище гончара, и село отозвалось песней.— Я из этой макитры наделаю человеков! Я отворю им свои двери!

С лица Юхрима слетело нахальство, он бросился к порогу, а в хату, как вьюга, влетела его жена. Мороз тучкой закружился вокруг нее, а все ее широкие размашистые юбки сразу отмерили себе полхаты и разбудили в ней ветер.

Юхрим от удивления только и выговорил:

— О, прискакало Евино потомство,— и прижался спиной к печке.

— Ой, Себастьян, миленький, богом прошу тебя, не выбивай душу из тела, не загуби, не прибей моего никчемного, дурноголового! — Полыхающими румянцами и

курносым носиком припала тетка Христина к плечу председателя комбеда.— Какой он ни есть никудышний, а не прибей, потому что и дурни должны быть на свете.

— Прибивать не буду, а проучить даже при тебе не постесняюсь!

— Ты, правда, не будешь его убивать? — даже не поверила молодая женщина и посмотрела на Юхрима.— А ты чего плел? — И снова дядьке Себастьяну: — Так не будешь?

— Зачем мне этот паскуда сдался?! Тешься с ним, если не надоел, как болячка.

Тетка Христина сразу же повеселела, крутнулась по хате, а на ее лесенкой надетых юбках ожило целое хозяйство: и горох, и вишни, и птицы, и цветы.

— Если так, Себастьян, всыпь моей паре и за меня! А как же! Разве это муж? Такого лоботряса, баламута, пустозвона, лодыря, брехуна, носодера, бабника и юбочника весь грешный свет не видал. Он скоро из меня Варвару-великомученицу сделает, а я ж назло ему хочу по-людски жить.

Дядько Себастьян удивился, опустил руку с кнутом.

— Вот это да! И тебе, женщина добрая, не жаль будет твоего баламута?

— А он меня жалеет? — Тетка Христина одним кулаком подперла бок, а другим пригрозила мужу.— Пусть, лоботряс, хоть раз отольются тебе мои слезы! Сколько я тебе говорила: не теши черта — бесом станешь! А как же!

— Тогда, крестник, держись! — Дядько Себастьян отвел руку с кнутом, а Юхрим, вываливая плечом и лбом дверь, вылетел из хаты, зацепился в сенях за бочку, упал, тихонько ойкнул и рванул на себя вторую дверь.

— И тут удрал! — удивилась и грустно покачала головой тетка Христина.— Он, верно, и от смерти удерет.

Я хотел закрыть двери, а в это время со двора раздался чей-то удивленный густой голос:

— Ты чего вперед головой летишь? Что это тут творится? Разбой, побоище или попоище?

— Ой!.. Это сами вы приехали к нам? Это же такая радость! Даже не верится, натурально! А у нас кругом такая необразованность — до сих пор без цивилизации колядуют... Может, ко мне заскочим? Вот будет праздник! Не рождество, а пасха! Как вы на это с точки зрения? — сладкоголосо бубнил кому-то Юхрим.

— Ты сначала обтрусись!

— Ой, стою перед вами необтрушенный, как... Расте-

...ля от индивидуальной радости. Извините. Вот спасибо, что приехали! У меня дома есть такая запеканочка, что и в Санкт-Петербурге при монархии не было. Хоть вы, натурально, не чарколюбец, а от этого зелья никак не откажетесь. Я недалеко живу — не утрудните себя. Осчастливьте мою хату.

— А кто тебя из этой хаты выпроваживал?

— Ох, вам бы персонально не спрашивать, а мне индивидуально не отвечать, потому что не люблю наговаривать.— Юхрим перебрасывает голос в хату, чтоб все там слышали, какой он справедливый.

— Ты не пой полсловечками, а говори полным словом!

— Могу, Василь Иванович, могу и полным.— И сразу снижает голос: — Ваш хваленый Себастьян персонально кною открыл свои двери. Вот какая у него первоначально-элементная культура!

— Что?! Себастьян фининспектором двери открыл?

— Фининспектором! И не тет-а-тет, не сам на сам, а при людях! Вот такое он имеет финансовое соображение ума.

— А двери хоть целы остались?

— Не знаю, наверно, целы.

— На чем же вы не помирились?

— На секторах, Василий Иванович. Я, не жалея себя, натурально, защищаю государственный сектор, а Себастьян — индивидуальный.

— Да что ты мелешь?!

— Проверьте! Вот я тут, а Себастьян в хате. Мы с ва-ми на государственной работе в городе имеем кругозор, а он — пуповину, которая приросла к селу. А на чем держится село? На земле и на индивидуальной пуповине.

— А твоя коллективная пуповина держится не села, а харчей из села?

— Вот и вы, натурально, оскорбляете своего финиспектора, насмешечки себе выделываете. А какая жизнь фининспектора в период нэпа и непеределанной мелкособственнической стихии? Хуже собачьей, потому что, заботясь о государственном рубле, он даже из-под гадюки должен вытянуть копейку!

— Ты смотри! Здорово сказано! — В голосе неизвестного послышались удивление и сочувствие, а в хате все нахмурились.

— Кого это так разжалобил мой пустослов? — погрустнела тетка Христя.

— Председателя уездного исполкома,— ответил дядько Стратон.

— Еще и ему заговорит зубы, толкач. Умеет же приникаться! — вслух удивляется женщина.— Он только дома стаёт самим собой, и то не всегда — даже передо мной, забывшись, иногда виляет и разыгрывает свои роли.

Все начинают смеяться, а в хату в облаке мороза входят председатель исполкома и Юхрим, лицо которого сейчас выражает почтение к начальству и уважение к своей особе. Юхрим закрывает дверь, украдкой смотрит, цела ли она, и невольно вздыхает.

— Добрый вечер добрым людям,— простуженно здоровается молодой председатель, поднимает длинные ресницы, и на его темном лице красиво выделяются серые, с дремотным туманцем глаза. Да какие глаза! Наверно, из купальских рассветов вбирали они тот дремливый туманец, что вылабает ресницы, удивляет, волнует и радует человека. Так это вы, Себастьян, открываешь финансами двери?

— Как сказано! Как это сказано: открываешь финансами двери! — подрастая, даже причмокнул Юхрим, округлил на коржастых щеках два больших нуля и поднял вверх указательный палец.— О!

— И на кого ты, дурень, окаешь? — тихонько спросила тетка Христя.

Юхрим, как гусак, выгнул шею, вытаращился на жену, зашипел, уменьшив на своем лице нули, но сразу же перестроился, усмехнулся и с поклоном обратился к председателю:

— Познакомьтесь, Василь Иванович, моя верная, благоверная и преданная пара.

— Тю на тебя! — смутилась, застеснялась «благоверная пара».— Уже у моего на голове крыша седеет, а в голове жуки гудят.

— Ничего себе характеристика! — повеселел председатель исполкома и нацелил на дядьку Себастьяна ресницы.— Ты не скажешь, чего это от тебя так удирал человек, что едва пятки не растерял?

— Наверно, спешил собрать свои обручи и клепки,— ответил председатель комбеда.

— Вот видите, как он разговаривает даже в чьем-то вышестоящем присутствии! А при вашем отсутствии он хотел побить меня тем кнутом, что с одного конца имеет музыку, а с другого — боль. Распоясался Себастьян, как настоящий анархист.

— Язык алмазный, только слова — болото,— спокойно сказал молчаливый дядько Стратон.

— Нате и мои портки в корыто! — озлился Юхрим.— Они тут все одной веревочкой связаны! А въелись в мою индивидуальность за то, что я по закону беру налоги с тех кустарей, которые занимаются не делом, а безыдейной и подозрительной фантазией.

— Подожди, подожди! Что за безыдейная и подозрительная фантазия появилась у кустарей? — Василий Иванович подбросил вверх черные брови.

Тетка Христя с мольбой простерла руки к председателю исполкома.

— Да не верьте губе моего мужелька — она давно с правдой разминулась.

— Молчи, немощь моя! Тебе и кузнец ума не скует! — огрызнулся Юхрим.

— Весело вы тут живете! — хмыкнул Василий Иванович и обратился к Юхриму: — Расскажи, как ты фантазию обкладываешь налогом.

— А так, чтоб не разгуливалась она! — И ткнул пальцем на Демка Петровича.— Вот перед вами стоит тот индивидум, что может, натурально, сделать из глины миску и горшок, крынку и кувшин, макитру и куманец[1], кружку или чарку — все, что нужно в хате пролетариата и трудового крестьянства. А он вместо реального трудового процесса кинулся в мечтания-фантазии и лепит разное зверье, птиц и даже чертей с человеческими намеками и переживаниями. За ту самую чертовщину я и прижал его налогом, за что пострадал телесно, потому что наш председатель комбеда ограждает кустарей от налогов. Вот так он понимает и подрывает финансовую политику первого в свете рабоче-крестьянского государства.

В глазах Василия Ивановича посветлел дремливый туманец.

— Ты чего своевольничаешь, Себастьян? Закон есть закон и для гончаров, что б они ни лепили. Хлебороб платит за землю, гончар — за глину.

— Как сказано: хлебороб платит за землю, гончар — за глину! — У Юхрима снова округлились глаза и пули на щеках.

— Чего молчишь, Себастьян?

— А что мне говорить? Грех красу обкладывать налогом. Если меньше ее станет, и мы измельчаем. Я не знаю,

[1] Керамическая фигурная посуда для спиртных напитков.

кто придумал горькую поговорку: бог для бедных сотворил вербу и картошку. А если человек на бедняцкой картошке творит красу, так мы должны похвалить, возвеличить того человека, а не пригнуть дурным словом или рублем, как делает этот недоумок, Демко Петрович, покажите свои фантазии!

— А зачем? — безнадежно махнул рукой гончар.— Уже заработал полбеды от уезда, так не хочу, чтоб была вся беда.

— Слышите, слышите, Василь Иванович, что, натурально, говорят всякие подозрительные про уезд! И это при председателе вышеупомянутого уезда! Вот какую они красу творят! Вот так и контрреволюцию сотворят! На них смотри, приглядывайся и на заметку бери!

— Ну, про контрреволюцию — это ты загнул!

— Нет, не догнул! А чтоб поверили, демонстрирую курьез. Я сам, персонально, конфисковал на ярмарке у Демка Петровича глиняного черта, долготелесность которого, поверхность головы и окружность обеих щек были совсем похожи на меня. Покупатели смотрели на черта, а надсмехались надо мной, что могут подтвердить записанные в мою книжечку свидетели. Вот таким способом этот индивидум может дискредитировать не только меня, а и руководство всего нашего уезда. Я прогрессивно вперед заглядываю!

— Глядел бес в воду, да только черта видел,— хмыкнул дядько Стратон.

— Показывайте, человече, свои фантазии! — обратился к гончару Василий Иванович.

Демко Петрович кинул хитрику на Юхрима, вздохнул и спросил председателя:

— А какие ж вам фантазии показывать? Возможные и невозможные, как говорит фининспектор, или только возможные?

Тут Юхрима затрясло!

— У вас снова объявились невозможные?

Демко Петрович невинно ответил:

— И на них хватило глины.

Юхрим всверлил глаза в гончара.

— Не трусите беду — струсите горе!

Мастер разгневался, выпрямился, словно сбросил старость с плеч.

— Чего ты меня, копеечный, пугаешь то рублем, то горем? Если на то пошло, испугаю я тебя! — Он вынул из мешка и стал раскладывать на скамье свои изделия. Вот

...ей все опушился с чесламей, с коржастыми щеками черт;
...ажды окольцев... сбя хвостом, черт держал в руке его
...ый что завершался дулей.
Глянул Юхрим на черта — позеленел, гневно ткнул в
...о пальцем и сказал «О!»
Все, кроме председателя исполкома, засмеялись.
— Юхрим, это ж совсем твоя парсуна! — хохоча, схва-
...лся за живот батько Себастьяна.— Вот если б тебе и
...правду перепала такая дуля!
Гончар хотел было убрать игрушку, но его придержал
за руку Василий Иванович:
— Подождите, пусть люди посмотрят.
— А налога на черта не будет?
— Вас не налог, а, натурально, криминал ждет! Вот
...я буду! — сатанеет Юхрим и все больше становится по-
...им на глиняного черта.
Василий Иванович отмахнулся от угроз и прирос к
...разцу с уткой. Он долго-долго разглядывал изделия ста-
рого мастера, потом что-то вспомнил, нахмурился и повер-
нулся к Юхриму.
— Так кто контрреволюцию творит — он или ты?
— Подумайте, подумайте, Василь Иванович, что вы
...ри массах говорите! — раскололся на две половины го-
...ос Юхрима — первая тихо загудела, вторая, закипев, под-
...рыгнула вверх. Даже глаза фининспектора перекосились,
...а на окантованных губах шевельнулась перепуганная
...смешка.— Василий Иванович, миленький, разве ж вы не
...наете меня?
— С сегодняшнего дня не знаю и знать не хочу!
— И вы за такую мелочь, извините, за глину, обижаете
...еловека?
— А где ты научился так обижать и принижать людей?
— Нет, вы еще не знаете меня,— огорченно покачал
...оловой Юхрим.
— Еще раз повторяю: и знать не хочу.
— Но почему так быстро? — Юхрим скрестил руки на
...руди и усмехнулся, как змея. Теперь он уже никого не
...оялся.— Я, натурально, понимаю: в красных казаках вам
...адо было быстро махать саблей, а решения принимайте
...отихоньку, а то поскользнетесь на глине — она сколь-
...кая,— ткнул пальцем на изразец с уткой.
— Убирайся, скользкий, отсюда! — бледнея, понизил
...олос Василий Иванович.— Завтра же сдашь дела.
— Не имеете права! Я, натурально, государственную
...опейку оберегаю,— взвизгнул Юхрим.

— А мы должны оберегать государство от таких бо-
ванов!

— Я и про это скажу вышестоящим инстанциям! Я свое-
го не подарю!

— Открывай дверь! — поднялся из-за стола дядько Стратон, и Юхрим выскочил из хаты.

— Кому-кому, а мне достанется! — горестно вздохнула тетка Христя, переглянулась с дядькой Себастьяном, по-косилась на стол и пошла к полке с посудой.

— За ваш талант, Демко Петрович! За то, чтоб ваши творения и в столице порадовали людей! — чокается с гон-чаром Василий Иванович.

— Спасибо.

— Христя, бери чарку! — приказал дядько Себастьян.

— Хватает забот и без нее.

— Почему ж не полную ей налили?

— Это чтоб я ее слезами, как судьбу свою, доливала.— Тетка Христя коснулась рукой своих все еще пылающих щек.

— За твое здоровье, Христя.

— За ваше, люди добрые.— Молодая женщина вытер-ла глаза.

— Ты чего?

Тетка Христя доверчиво и грустно посмотрела на Се-бастьяна.

— Послушались уши его языка, а теперь горя и ведром не вынесешь. А как же!

— И куда мои глаза смотрели, когда была ты девуш-кой? — тихо спросил себя дядько Себастьян.

Тетка Христина вздрогнула и самой печалью прошепта-ла:

— В лесах тогда были твои глаза...

— Кого же теперь ругать — леса или себя?..

Молодая женщина будто что-то тяжелое отвела от себя рукой и сказала со вздохом:

— Э, не будем про это — не каждый встречает свое щедрое утро или щедрый вечер... Что теперь мой хитрый недоумок вытворяет?..

Впоследствии село узнало, что Юхрим метнулся с доно-сом и жалобой прямо в Винницу. И там поразил, удивил и разжалобил работников финотдела своим коронным, где-то выуженным заверением, что он, заботясь о государ-твенном рубле, даже из-под змеи вытаскивал копейку Дело закончилось соломоновым решением: с Демка Петровича сняли налог, а Юхрима забрали на работу в губерние...

— А что это за хлопец у тебя? — посмотрев на меня, спросил Василий Иванович.

— Михайлик! — ответил дядько Себастьян.

— Это случайно не тот, что «Космографию» читал? — прижмурился председатель исполкома.

— Он самый!

— Так вот ты какой,— удивляется Василий Иванович и приближает ко мне дремливый туманец своих необычных глаз.— Очень хочется читать?

— Очень,— смущенно говорю я.

— А как ты читаешь? От доски до доски и посредине немножко?

— И посредине немножко,— беззаботно киваю головой.

— И что теперь читаешь?

— Та!

— Чего загордился?

— О! Такое скажете! — Я начинаю краснеть.

— Как же книжка называется?

— «Арабская земля и Магометова вера».

— А это тебе непременно надо знать? — И смех закружился вокруг меня.

Так что мне оставалось делать? Тоже смеяться.

— И у меня такое ж дитя: всюду шарит за книжками, а их нет,— сказал дядько Стратон.

— Беда? — сочувственно смотрит на меня Василий Иванович.

— Не так беда, как горе,— уже смелею я.

— Так, значит, очень хочешь читать?

— Аж душа болит.

— Этого-то я и не хочу, чтоб у малого душа болела.— И Василий Иванович повел бровью на дядьку Себастьяна: — Прошу тебя, при случае заскочи в Майдан-Трепивский [1] — там теперь самая хорошая библиотека.

— Вот это дело! — одобрительно кивнул головой дядько Себастьян и весело глянул на меня.— Там тех книжек — море!

— Ой! — невольно вырвалось у меня. Я сразу ж с перепугу зажал рукой рот, а все засмеялись, даже Себастьянов батько дружелюбно покачал головой.

А Василий Иванович достал из кармана записную книжку, отодвинул от себя миску с холодцом и начал на бумаге выписывать радость для меня.

Я все косился на весело бегущие буквы, что так под-

---

[1] Теперь — Каменка Хмельницкого района Винницкой области.

хватывали друг друга, словно собирались танцевать, и меня обсыпало то ли искрами, то ли звездами. От радости я чуть не приплясывал на скамье. Везет так везет озорнику! — Теперь, хлопче, верно, начитаешься! — по-доброму улыбнулся мне Василий Иванович, вырвал листок из книжки и протянул дядьке Себастьяну.— Учись, выходи в люди!

Словно свадебная музыка заиграла в моей душе и грянула в ушах, я совсем притихаю, вслушиваюсь в нее, потом перевожу взгляд на дядьку Себастьяна, на людей, а они наклоняют ко мне смеющиеся, радостные глаза. Только Себастьянов батько почему-то вздыхает.

В это время под окнами затопали: засветилось, закружилось нарисованное в образе дивчины солнце, и добрый вечер щедро отозвался молодыми голосами:

То не з моря тумани,
То із коней пара...

Какая ж это была битва, если пар над конями вставал, как из моря туманы, стрелы падали густым дождем, а мечи блестели, будто солнце из-за тучи?!

И колядки, и тихий Дунай, что выплыл из них, и всадники над Дунаем, и пар от коней, и струны кобзы старого Левка убаюкивали и убаюкивали меня. Я не слыхал, как разъехались гости, как дядько Себастьян снял с меня сапожки и укрыл, сонного, колючим солдатским одеялом...

Я проснулся от скрипа дверей, топота чьих-то сапог и странного смеха. Около порога стояла немолодая печальная женщина, а рядом с ней высвечивал хромовыми сапогами веселолицый милиционер, к которому прилипло необычное прозвище «Форточка» только потому, что он имел обыкновение орать: «Закрой мне форточку!» или «Открой мне форточку!»

Это из его рта вырывались клекот, хрип и что-то подобное шипению гусака — все это вместе заменяло ему смех.

— Садитесь, тетка Марина. Что там случилось? — обратился к женщине дядько Себастьян.

— Э, пусть он говорит... научился же.— Тетка Марина обиженно поджала темные сморщенные губы, села на скамью и крестом сложила на коленях тяжелые землистые руки.— Рассказывай, Василь!

Испорченный граммофон снова захрипел в груди милиционера, и снова смеха не получилось, но это нисколько не смутило Василя — он сиял от радости, и глаза его набухали веселой слезой.

— Вот вы даже не поверите, что я сегодня на контр-

революционно наскочил! Держу ее, разумеется, в кулаке! — саркастически изрек он, а тетка Марина вздохнула.

— На какую это контрреволюцию? — настороженно спросил дядько Себастьян.— Может, на тетку Марину?

— На нее! Никогда б и сам не подумал, а вот... Село, конечно! Расскажу вам все, по протокольной форме.

— Расскажи как умеешь,— уже нахмурился дядько Себастьян.

— Сегодня ранешько поехал я к Якову подковать коня. Захожу это тихонечко во двор, иду в хату, а ухом чую, что в кузнице шипят меха. Это на рождество! — Снова заклокотал, захрипел милиционер и вытер слезу рукой.— Удивляюсь, что для Якова и праздника нет, подхожу к кузнице. И что же я вижу? Чергов кузнец раздувает огонь, а на огне, как на картине стоит целехонький пулемет. Тогда я, понятно, револьвер в руку, ногой — в дверь и Якову: «Руки вверх!»

А он на меня, понятно, никакого внимания.

— Пошел ты,— говорит,— Форточка, ко всем чертям. Людям бог праздник послал, а ты револьвером балуешься, как самшедший.

— Я стрелять буду! — гремлю на кузнеца.

А он и за ухом не чешет.

— Стреляй,— говорит,— в свой затылок, может, дурня прибьешь. Что ты вытаращился? Пулемет никогда не видал?

— За этот пулемет судить будем!

— За что ж меня судить? — рассердился кузнец.— За то, что я смерть перековываю на лемех?

— Вы мне тем лемехом баки не забивайте, а фактически говорите: где достали эту смерть? — Припираю его к стенке револьвером, параграфами и всей строгостью закона. Мялся, крутился, выкручивался Яков, но все-таки признался, что достал пулемет у гражданки Марины, которая вот здесь сидит перед вами и вздыхает, как будто пулемет не был ее собственностью.

— Тетка Марина, это правда? — не верится дядьке Себастьяну.

— Да правда ж,— кивнула головой тетка Марина.

— И вы продали пулемет Якову?

— Вот это уже неправда: не продала, а обменяла.

— На что?

— На кочергу — моя как раз переломилась.

— Так и Яков сказал,— подтвердил милиционер.— Тогда я бегом на улицу, вскочил на сани — и на хутор к тет-

ке Марине. Приезжаю, захожу в хату, а она еще и к столу приглашает.

— Как человека же,— тихо сказала тетка Марина.

— «Где вы, гражданка, прячете свои пулеметы?!» — сразу нагнал я страху.

«Зачем они тебе, Василь?» — Даже не пугается и не отрицает, что еще имеет оружие.

«В милицию надо сдать!»

«Даром или заплатят что-то?»

«За такое дело тюрьмой заплатим!» — говорю. А она мне: «Форточкой ты был, Форточкой и остался, хоть бы обулся и в золотые сапоги».

Рассердился я и начал делать обыск. Сопротивления со стороны тетки Марины не было. И нашел я в сарае — вот никто не поверит — еще четыре пулемета и пять немецких и австрийских ружей.

Дядько Себастьян побледнел и оторопело поглядел на тетку Марину:

— Неужели это правда?

— Правда, чего же...

— Вот какой выискался еще элемент! Наверно, у нее был бандитский арсенал. Повесил я пломбу на ее двери и к вам — как-никак это ж далекая ваша родня.

— Тетка Марина, где вы этого чертового оружия набрали? — с жалостью спросил дядько Себастьян.

— Бандиты, кто ж другой, устроили у нее свой склад,— стоял на своем милиционер.

Тетка Марина, как от боли, сжалась, тихонько ойкнула и презрительно глянула на него.

— Пломба ты и больше ничего. Ты над этим оружием только сейчас затрясся, а я всю войну тряслась. Это ж, Себастьян дорогой, как убили на войне сына, мой Иван от горя стал оружие красть где только мог. Думка ему, старому, такая пришла в голову: если разворовать винтовки, пулеметы и другую погань, что стреляет, так меньше будет чем воевать и меньше сгинет людей на войне. Вот и крал, бедняга, и у немцев, и у деникинцев, и у петлюровцев. Попался на этом деле и пошел спать в могилу. А Форточка меня уж к бандитам приписывает да тюрьмой, да пломбой пугает. Так есть у него совесть или ее раскле-вали куры?

Дядько Себастьян, повеселел, а милиционер, который все время то возмущался, то недоверчиво хмыкал, то кусал губы, зашипел, заклокотал, захрипел, вытер глаза рукой и сказал:

— Правильно, ой, правильно: не было сегодня утром у жения ни совести, ни клепки в голове! — Нагнувшись к тетке Марине, он чмокнул ее в щеку, а потом загоревал: — Так-то оно так, а что теперь с проклятыми пулеметами делать? Начнут всех нас тягать по инстанциям, сомневаться, допрашиваться, протоколы писать и всякую всячину. Вот попали в историю на самое рождество! Теперь и чарки не выпьешь, а скачи в уезд сломя голову.

— Василь, а не лучше будет, чтоб Яков без всякой хороки забрал себе те пулеметы — и в огонь? — доверчиво спросила тетка Марина.— Он мне за это сделает и лопату, и ухват, и рогач — теперь же так туго с железом...

— А, сельская наивность! — безнадежно махнул рукой милиционер и обратился к дядьке Себастьяну:— И какую тут придумать резолюцию?..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Глупо, что и говорить, сочинять пьесы в четвертом классе, но что поделаешь, если тебя так и тянет к этому делу? Уже вся школа подсмеивалась над моим зудом, уже ко мне прилипло несколько обидных прозвищ, а кое-кто из одноклассников тайком издевался над моей писаниной — рисовал на ней чертиков и дули. Горько и больно становится от этого, но я бью лихом об землю и держусь за свое. Теперь уже, выходя на перемену, я не оставляю свои злосчастные тетрадки под партой, а засовываю в карман. Конечно, неудобство большое, особенно когда приходится бороться, но искусство требует жертв.

А по вечерам я в хорошую и в плохую погоду чешу в хату-читальню, что открылась месяца два тому назад. Тут я перечитываю все какие есть пьесы,— про бурьяны, засуху, бандитов. Больше всего нравятся мне те драмы и трагедии, в которых много стреляют. Это хорошо знает наш заведующий хатой-читальней, поэтому он иногда приветствует меня бодрым выкриком:

— Михайло, привез пьесу со стрельбой!

— А много се? — замираю от радости.

— Во всех сценах и немного за сценой — там из пушек бьют!

— Вот это пьеса! — радуюсь я.

А заведующий насобирает с полсотни морщин около глаз и смеется — такой славный человек. Иногда, после того как разойдутся люди, он просит, чтоб я прочитал ему свое, из пьесы, долго думает над прочитанным, теребит

кончик носа и жалеет, что я не пишу стихов — он бы их поместил в стенгазете, которую тогда ходило читать все село. Но я твердо держусь за драматургию, потому что, видно, такая моя судьба.

Вчера, краснея и бледнея, отдал я свою третью пьесу Насте Васильевне. Она бережно взяла мои тетради, полистала верхнюю и лукаво спросила:

— А стрельба есть тут?

— Есть, и даже много!

— Вот это хорошо,— одобрительно кивнула головой учительница, а я немного подрос: хоть что-нибудь есть хорошее в моей писанине...

Сейчас я лежу поперек печи, передо мной мигает заправленная трофейным бензином коптилка, а в глазах мельтешат буквы; сегодня мне что-то не читается, мысли кружатся около пьесы. что скажет учительница? И больше у меня сомнений, чем надежд.

А за окнами крепчает мороз и посвистывает ветер, он трогает промороженные ветки груши и выбивает из нее то стон, то серебряный перезвон. Можно было б грушу вставить в пьесу и пулеметчиков около нее, а в ветви груши врисовать молоденький месяц, которого нет сейчас

Занятый этими мыслями, я и не слыхал, как из школы вернулся отец.

— Сегодня у нашего батька, неизвестно почему просто гудит внутри,— усмехается мать.

На это отец, хитро глянув сначала на меня, потом на мать, ответил:

— Скоро и ты загудишь голубкой, когда начнешь собираться в театр.

От одного слова «театр» я навострил уши, прирос к печи, а глазами так и впился в отца: радость или насмешка у него на лице?

— Снова какой-нибудь театр приезжает к нам? — взявшись за прялку, спрашивает мать.

— Не приезжает, а вон там театр вылеживается на печи.— Отец снова глянул на меня.— Написало ж оно какую-то пьесу, и ее поставят в школе. Вот будет комедия!

Я еще больше врастаю в печь, радость и страх вцепились в мою душу, а в это время за меня вступается мать:

— И зачем бы это я подсменвалась над своим дитем, если оно чего-то себе черкает?

— Много ты понимаешь! Сама учительница сказала, что твой хламидник писателем делается. Кто нам тогда корову пасти будет?

— Ты хоть толком, без насмешек скажи: что про него ительница говорила?

— То самое и говорила: школа поставит его пьесу, цена лета будет пять копеек, а пустят ли нас на дармовщи-ну — посовестился узнать. Как, сынок, пустят нас?

— Если немного придержите свои насмешки, так, мо-жет, и пустят,— говорю осторожно, потому что кто его знает, как обернется дело.

Мать сразу накрыла батька мокрым рядном:

— Теперь, кажется, и у тебя и Миколы языки одина-ково мелют.

— Вот и ты не веришь мужу, а он принес тебе чисте-нькую правду, даже слова не замутил.

— Батько, в самом деле учительница сказала, что... ого... поставят? — аж зазвенел мой голос.

— Да, наверно, поставят. Сегодня все учителя прочи-тали твою мазню, что-то почеркали в ней, что-то дописали и сошлись на том, что нашему селу никак нельзя без своего писателя. И чего это я с тобой до сих пор как с простым говорил? Так уж извини, сынок,— ласково и насмешливо посмотрел на меня отец и дернул за чуб.— Пустишь нас с мамой в театры?

— Ой, тато!..— Неимоверные надежды мгновенно под-хватывают меня и несут к тому дню, про который и ра-достно и страшно подумать.

— Чего ж так застыдился? — снова дергает меня бать-ко за чуб.— Может, и правда из нас что-то будет?

В это время со двора откликнулся Рябко, забренчал засов на калитке, отец вышел в клуню и вскоре вернулся с дядькой Миколой, одетым в длинную керею. Дядько от-ряхнулся, обмел снег с сапог и, глянув на меня, спросил, пропустят ли его в театр.

— О, и вы знаете,— поморщился я.

— Все село знает. У нас кашель и пьесу не спрячешь. Вот и зашел узнать: не выставил ты там на смех дядьку Миколу, а то что тогда скажет тетка Лукерья?

Мы все смеемся, а я и правда начинаю жалеть, что не вписал ничего из дядьковых шуток. Вот он расправил свои гетманские усищи и уже серьезно спрашивает отец:

— Папас, хочешь на щедрый вечер раздобыть свежень-кой рыбы?

— Как это «раздобыть»? — недоверчиво косится бать-ко.— В воде или в лавке?

— На дурничку! В воде, из-под льда.

— Чего ж про дурнычку Владимиру не сказал? — подсмеивается батько.

— Так он же меня до сих пор грехоплутом за кур обзывает, а у самого такое грешное око, что от него вся рыба на дно попрячется. А я, правда, недавно встретился с одним рыбаком, и он сказал, что в Щедровой теперь целыми мешками рыбы налавливают. Надо и нам махнуть.

— Сколько ж берешь с собой мешков?

— Четыре да торбу про запас,— и глазом не моргнув, выпаливает дядько Микола.

Мать затряслась от смеха:

— Чего ж так мало?

— Жалко: все мешки пропахнут рыбой. Что в мешки не влезет, прямо на сани кинем,— даже не усмехается дядько Микола.— Так поедем, Панас?

— Можно и поехать,— соглашается отец.— Готовь, жинка, мешки!

— И для рыбы и для вьюнов,— добавляет дядько Микола.— Я знаю такой закоулок, где всегда зимуют вьюны — свернутся в клубки и ждут тепла. Как-то наловил я их чуть не полный мешок, привез мерзлых домой, бросил под скамейку, а сам лег спать. Просыпаюсь от страшного крика. Смотрю, забралась моя Лукерья на лежанку прямо в сапогах, в руках держит коптилку и кричит не своим голосом.

«Что там у тебя?»

«Ой, посмотри на пол,— аж трясется она,— кто-то ужей полную хату напустил!»

Глянул я, на полу мои вьюны ползают — все до одного поразмерзлись... Так пришлось их второй раз ловить и нести к соседям, Лукерья со страху глядеть на них не хотела и ночевать дома побоялась. Из-за этих вьюнов чуть было без любви не остался.

Мы все смеемся, а дядько Микола вплетает руку в свои гетманские усы, чтоб раздобыть еще какую-нибудь побрехушку.

— Батько, возьмите и меня! — канючу я, потому что само слово «Щедрова» уже навевает сказку.

— Обойдемся без тебя,— отмахивается отец.

— Возьмите, тато!

— Там придется целый день пробыть на морозе, он и в косточки твои заберется.

— А на катке я ж бываю целый день.

Батько переглянулся с мамой, с дядькой Миколой и покачал головой.

— Что нам делать с ним? Может, возьмем, оно ж такое пастырное.

— Пусть приучается ко всякому делочку.

— Беги набери свежей соломы на подстилку.

Меня с печи как ветром сдуло, босиком вскакиваю в сапоги, лечу в клуню, на ощупь выбираю пшеничную соломку, а в это время кто-то подходит к калитке и дергает за веревочку деревянный засов.

— А кто там? — кричу баском.

— Это я, Михайлик,— слышу знакомый голос.— Пустишь в хату?

— Ой, заходите, дядько Себастьян! — Я подбегаю к калитке, распахиваю ее и меж столбами клуни веду председателя комбеда в хату.

— Вот кто нам про международности и внутренности расскажет! — весело приветствует гостя дядько Микола.

— Про ваши внутренности вам доктор расскажет,— сидится дядько Себастьян.

— Так я на одни международности согласен. Как там Антанта? Дрыгает копытами?

— Я ж вам вчера об этом рассказывал, а вы, слыхал, уже к моему свое дотачали.

— А как же без прироста обойтись? — хитровато посмеивается дядько Микола.— На свиньях прирастает, на скотине также, так и на языке должно, а иначе сносится он, как сатиновая латка.

— Ваш вряд ли износится — не те кузнецы его ковали.

Дядько Себастьян пристально поглядел на отца.

— А мы тебе, Панас, по твоему характеру нашли подходящую службу.

— Кто это мы? — насторожился батько.

— Комбед и председатель уездного исполкома. Хотим, чтобы ты стал лесником.

— Неплохо бы меня спросить, хочу ли я этого,— нахмурил отец брови.

— Если не хочешь, так должен, человече! — твердо говорит дядько Себастьян.

— Это почему ж должен?

— Разве не видишь, как идет под топор наш лес? Каждому теперь воля, а лесам — недоля. В лесничестве смирились с этим и только самогон дуют. Вот мы и решили поставить свою охрану из людей непьющих и трезвых. Как ты?

— Не хочу.

— Боишься? — подкусил дядько Себастьян.

— Ни воровского топора, ни обреза не боюсь! — гордо блеснули глаза отца.— Опасаюсь родни, которая будет клясть до седьмого колена, и тех бумажек, что посыплются на меня.

— А знаешь ли ты, сколько на меня доносов сыплется? Печь можно было бы протопить.

— Если тебе это нравится — топи, а я свою печь не хочу паскудством обогревать.

— Если мы так думать станем, то через несколько лет придется печи разваливать: топить их нечем будет. Погибнет весь лес!

— Ой! — загоревала мать.

— Обществом просим, возьмитесь за это дело.

— Подведете вы меня под беду, как дерево под топор,— вздохнул отец.

И не зря вздохнул. Немало горя принес ему и нам этот зеленый певучий лес, в который змеей вползала загребущая жадность.

— Так что тебе, Панас, требуется для начала? — повеселел дядько Себастьян.

— С десяток саней и столько же смельчаков, которым кулаков не занимать.

— Зачем так много?

— Сразу же свезу в сельсовет все нарубленное моей родней. Начну с брата.

— Тебе еще этой беды не хватало,— сникла мать.— Зачем же с Яковом связываться?

— Пусть не забывает, что у него есть брат,— отрезал батько. - Когда отберу лес у родни, так все поймут: никому не спущу.

— Ну и начнем с Якова, обложился он деревом, как стеной — согласился дядько Себастьян и посмотрел на печь.— Михайло, завтра поедем в Майдан-Трепивский.

— Завтра? — не верится мне.

— Ну да. Одевайся теплее.

— Так он завтра собирался ловить рыбу.

— Нет, батько, я лучше поеду в Майдан-Трепивский. Там книжки дадут!

— Как хочешь, дело хозяйское,— сказал отец.

А я затанцевал на печи: везет так везет! И все неудачи, все досадные прозвища, все чертики и дули отлетают от меня, как шелуха на ветру.

Еще затемно мать наварила гречневых вареников с грушами-дичками, тертой фасолью, маком и калиной. А величиной они были, вареники эти, как ущербный ме-

ш — одного хватило бы на молотильщика. Бросил я три рренника в торбу, выслушал все мамины предостережения на дорогу и махнул к дядьке Себастьяну. А он уже запряг коня в легкокрылые санки и ждал меня.

— Чего это ты напаковал в торбу?

— Это варенки — для вас и для меня. Попробуйте.

— А ты пробовал?

— Еще нет.

— Так, может, начнем доброе дело с варенков? В хату пойдем или здесь?

— На дворе, батько говорит, вкуснее. А где ваш аист?

— Отвез хозяину. Скоро дождемся живых.

— Не так-то скоро.

— Да уже цыган кожух продал,— смеется дядько Себастьян и похваливает варенки. Он держит свой в одной руке, а я — в двух, он добирается уже до рожка, а я до середины, и так мне приятно, что ему нравятся наши варенки, и так весело мне говорить с ним и уже видеть то неведомое село, где лучшая на всю округу библиотека.

Съев вареник, я валюсь на забитые сеном санки, дядько Себастьян усаживается на передке, и вот конь уже выносит нас в широкий заснеженный мир, где в серебряной изморози туманятся вербы, где ветряки остужают солнце, а речка покачивает перезрелые кисточки камыша, в котором до сей поры живут чьи-то грустные голоса.

Мы проскакиваем соседнее село, минуем хату деда Корнея, подъезжаем к тому страшному болоту, что и зимой дышит гнилым туманом. Здесь еще во времена татарских набегов прятались люди.

— Михайлик, хочешь увидеть чудо? — оборачивается ко мне дядько Себастьян и играет заснеженными ресницами.

— Хочу!

— Тогда возьмем влево.

Санки запрыгали по бездорожью, по мерзлым кочкам, и вскоре мы очутились в молодой, заткannой изморозью рощице. Дядько Себастьян останавливает коня, соскакивает с саней и весело смотрит вверх. Над нами и правда кто-то развесил чудо: каждое прихваченное инеем деревцо налилось солнцем и хвалилось красными гроздьями. Я еще никогда не видел столько калины и, как завороженный, оглядывал и прибитые морозом ветки, свисавшие прямо над головой, и тени на снегу, где отчетливо, как рисованные, выделялись кисти калины.

— Красиво, Михайлик? — заговорщицки жмурится дядько Себастьян.

— Ой, как красиво! — Я срываю несколько промерзших кистей.— И откуда ее столько?

— Откуда? — задумался и посмутнел дядько.— Старые люди говорят, что когда-то и здесь были непроходимые болота. А когда однажды татары напали на село, сюда бросились девчата, прямо со свадьбы. Татары за ними — красой торговали они по разным Царьградам, а девчата в болото — и утопились. Потом на этом месте и выросла калиновая роща. Люди говорят, будто летом здесь до сих пор слышат стоны и девичьи голоса.

И тут мы вздрогнули: кто-то, мурлыча, шел меж кустами. Вскоре показался ширококостный с кривыми бедрами конь, за ним семенил невысокий человек с большим мешком за плечами; его серое, плоское лицо было похоже на поставленную боком миску с холодцом.

Он с опаской поглядел на нас, похлопал редкими ресницами и спросил у дядьки Себастьяна:

— Та вы, значится, приехали ломать калину?

— А вы ее ломаете?

— Ну да, ну да, что ж делать зимой? Рыбу глушить не разрешают, пришлось перейти на калину.

— Простуду лечите ею?

— Нет, я ее, голубоньку, в город вожу, на продажу, значится. У городских деньги дурные, они даже калину покупают, любуются, будто сроду не видели.

Дядько Себастьян заглянул в мешок плосколицего, вытянул покалеченную ветку калины, возмутился и сразу перешел на «ты»:

— Кто тебя научил руки ломать деревцам?

— Руки? — удивился и хихикнул плосколицый. Он посмотрел на дядьку Себастьяна, как на чудака.

— Ты не хихикай, дурная голова, а то положу на санки — и в волость!

— Не столько того пшику, сколько крику! — обиженно задрожали узкие синие губы.— Из-за чего на меня такой гром?

— Не калечь дерево! Оно семь лет после твоей работы будет слезами обливаться. Нож есть?

— Есть.

— Сейчас же зачисть все поломы и не смей больше разбойничать тут!

— А мне, значится, что? Если надо зачистить, так я зачищу. А вы в начальстве ходите?

— Разве не видно?!

— Да видно. Из Литина или Винницы?
— Из Винницы.
— Значится, такой вышел приказ? — удивляется полицый.— Дождалась и калина себе приказу. Так я сейчас же зачищу свои следы.— Он достал нож и исчез за деревцами, которые и по сей день люди калечат за их красу.

Под роскошными красными гроздьями выезжаем на луг, потом на дорогу и вперед, вперед, а потревоженные думки ширяют через тьму веков, и я вижу тех тонущих на глазах у врагов девчат, из которых проросла калина. Вот я даже слышу, как застонала земля. Нет, это постукивала над речкой небольшая мельница, тяжелое обмерзшее колесо лихорадило ее, а она делала свое дело, как человек, и стонала, как человек.

— Теперь, Михайлик, уже недалеко. Не замерз?
— Нет.
— Все равно немного пробежимся.

И мы бежали наперегонки с дядькой Себастьяном, он догонял меня, подбрасывал вверх и ловил, как мяч, а умный конь искоса поглядывал насмешливым глазом и сам догонял нас.

Вот и Майдан-Трепивський, и речка Згар, и крутояры, и красные глинистые холмы, что обросли хатами-белянками. Мы въезжаем на двор, где сияет большими окнами двухэтажная кирпичная школа. Тут сейчас тихо, школьники поразъехались по домам, и только голуби воркуют — к теплу.

Со страхом и радостью поднимаюсь я по стертым металлическим ступенькам на второй этаж. Дядько Себастьян останавливается около высоких дверей и сторожно стучит.

— Входите, входите!

Мы переступаем порог просторной комнаты, здороваемся с немолодым человеком в очках, с седыми до плеч волосами. Я, как заколдованный, прирос к полу: напротив меня, справа и слева стоят огромные дубовые шкафы, и из них сквозь стекло глядят тысячи книг, Их, наверно, и на десять бы возов не вместить! Сначала я не поверил, что можно собрать столько книжек в одном месте. Куда там поповской библиотеке! Есть же такие счастливцы, что имеют доступ к этому добру. Пока я рассматриваю корешки книг, ко мне подходят дядько Себастьян и заведующий библиотекой.

— Это, Михайлик, учитель Дмитро Онисимович.
— Спасибо,— говорю невпопад и так выминаю шапку в руках, что из нее летит шерсть.

Дмитро Онисимович переглянулся с дядькой Себастьяном и ласково заговорил со мной:

— Наша библиотека, Михайло, выдает домой только по две книги. Может, выберешь сам?

— Я сам...— Прикидываю, что мне надо выбрать две самых толстых книги.

Дмитро Онисимович раскрывает дверцы шкафа, а я шарю глазами по толстым корешкам. Вот, кажется, можно взять эту, в черном переплете.

— Выпишите, если можно, ее.

Дмитро Онисимович, усмехаясь, подает мне пьесы Шекспира и говорит:

— Тебе еще рановато браться за эту книгу, хоть ее и написал лучший драматург мира.

— Чего рановато? — бормочу себе под нос.— Я очень люблю читать пьесы.

— Вот и хорошо, у меня таких читателей немного. Но эти пьесы будешь читать лет через шесть-семь.

— А в них стрельба есть?

— Что, что? — округляются большие серые глаза учителя.

— Я спрашиваю, дерутся ли, стреляют ли в этих пьесах действующие лица.

— Ага! — понял наконец Дмитро Онисимович и пустил усмешку в усы и под очки.— Бьются тут не на жизнь, а на смерть, но не стреляют — тогда, кажется, и пороха не было.

— Так я возьму ее — люблю, когда бьются,— смущенно оправдываюсь перед учителем.

— Если так настаиваешь, бери! — вручает мне толстенную книгу Дмитро Онисимович.— Только одно условие: потом расскажешь, о чем здесь пишется. Согласен?

— Согласен.

— Какую ж тебе еще подобрать? Может, эту? — показал учитель на одну из самых толстых книг в полотняных переплетах. По всему видно было, что он понял мой вкус.

— Можно и эту.— Беру в руки произведения Мамина-Сибиряка.

Дядько Себастьян тоже выбрал себе книги, правда, не такие толстые, как я. Мы поблагодарили учителя, а он на прощание сказал:

— Ты, Михайло, когда кончишь школу, приезжай учиться к нам. Я тебе дам все книги прочитать.

— Спасибо, спасибо, Дмитро Онисимович,— кланяюсь старому учителю, а он кладет мне на голову пропахшую книгами руку, и у него почему-то дрожат ресницы...

Как радостно было теперь повалиться в сани! Книга приятно холодила пальцы, короли и рыцари сходили со страниц, сражались и падали тут, в снегах, где пахло мерзлой калиной, где ветряки бились с сумерками и звали к себе добрых людей — молоть на хлеб.

— Михайлик, глаза попортишь! — сердился на меня дядько Себастьян.

Я усмехался ему, закрывал книгу, а через минутку снова раскрывал ее, чтоб хоть поглядеть на вояк, для чего-то закованных в железо.

Изморозью, дымами, разбросанными огоньками и звездами встречает нас заснеженное село. Вот заскрипел журавель, а за дорогой отозвалась щедривка:

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір.

— Спасибо, деточки, что пощедровали нашей хате и нам...— слышен женский голос.

А там, около пруда, запели девчата:

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала вона щебетати,
Господаря викликати.

Я сразу узнаю Любин голос, поднимаюсь на санях и кричу через пруд:

— Люба, не застуди голос!

От пруда слышится сначала смех, потом кто-то отделяется от компании и со всех ног мчится к нам.

— Михайлик, пирожка хочешь? — смеется Люба, валится на сани и подает мне щедрованный пирожок.

— А я тебе калины привез, бери.

— Дядько Себастьян, а вы не хотите пирожка? Он еще теплый.

— Если теплый, так чего же...— полуобернувшись, шутливо разводит руками дядько Себастьян.

А Люба уже весело стрекочет:

— Михайлик, а дядько Микола и твой батько уже вернулись домой.

— И что-нибудь поймали?

— Несколько щук и целехонькую торбу вьюнов. Дядько Микола говорил, что они тянули-тянули и никак не могли вытащить вдвоем одну щуку — такая большая попалась. Глаза у нее были с горшочки, а чешуя — как серебряные рубли.

И нам всем почему-то становится очень смешно. А в это время нас догоняют легкие санки, которыми правит статный мужчина, а за его спиной покачивается и тихонько напевает ребенку молодая женщина. Чем-то знакомым-

знакомым повеяло. Услыхав наш смех, женщина оглядывается, и я, не веря своим глазам, вскрикиваю:

— Марьяна!

— Михайлик! — взволнованно охнула женщина и для чего-то спросила: — Это ты?

— Ну да, Марьяна! — Спрыгиваю с саней, бегу и уже вижу перед собой большие-большие глаза, над которыми трепещут веночки ресниц.

— Ой, Михайлик! Как ты вырос!

Марьяна одной рукой держит дитя, а другой обнимает меня.

— А мы едем к вам на щедрый вечер.

— Правда?

— Правда. Добрый вечер, Люба! Добрый вечер, дядько Себастьян! Вы и теперь председатель?

— Та председатель.

— И мой тоже. Вот морока на мою голову!

Дядько Себастьян наклонился к Марьяниному уху:

— А он и сейчас тебя звездочкой зовет или не до того уже?

— Такое скажете,— смутилась Марьяна.

— А все-таки?

— Зовет же... когда надо задобрить.— Она влюбленно посмотрела на мужа, а тот лишь повел могучим плечом и засветился доброй, спокойной улыбкой великана.

— Тетечка, а у вас девочка или мальчик нашелся? — уже приникла к ребенку Люба и что-то агукает ему.

— Хлопчик...— И так хорошо сказала, склонившись над ним: — Растет себе дитя!

— Поедемте к нам! — приглашаю я гостей.— У нас рыба свежая есть!

— Если свежая, так, наверно, придется поехать,— весело жмурится дядько Себастьян и вожжами сбрасывает с коней изморозь.

И снова запели санки, и спросонок вздохнул, затьокал лед на пруду, и заагукало у материнской груди дитя. А над нами мерцают и не падают звезды, а впереди нас вспыхивают и вспыхивают тихие огоньки, и от них доносятся голоса колядников:

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір...

И хорошо, и странно, и радостно становится мне, малому, в этом мире, где есть звезды, и добрые люди, и тихие огоньки, и щедрые вечера...